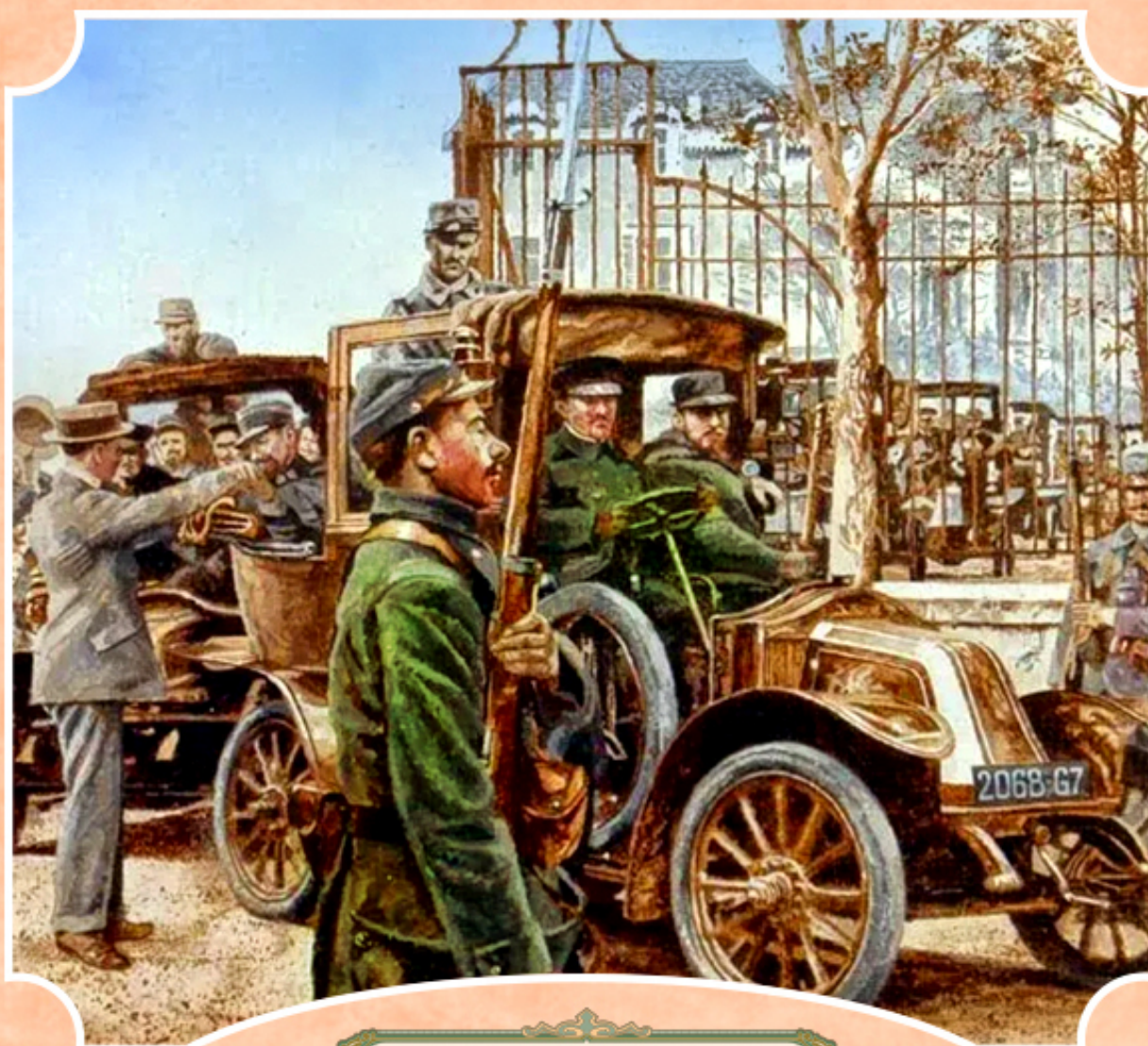


ДЖОН ДОС
JOHN RODERIGO DOS PASSOS

John Dos Passos

ПАССОС

Три солдата



ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОКИДЫШЕВЪ И СЫНОВЬЯ

Джон Пассос

Три солдата

«СОЮЗ»

1921

Пассос Д. Д.

Три солдата / Д. Д. Пассос — «СОЮЗ», 1921

ISBN 978-5-6049166-3-6

Роман «Три солдата» Джона Дос Пассоса, опубликованный в 1921 году, был признан одним из самых честных и правдивых произведений, посвященных Первой мировой войне. В книге рассказывается история трех молодых людей, добровольно отправившихся на фронт: продавца Дэниела Фюзелли из Сан-Франциско, фермера Крисфилда из Индианы и музыканта Джона Эндрюса из Нью-Йорка. У каждого из них свое прошлое, свои мечты и надежды. Каждый пытается найти свое место в этом мире и не понимает, что ждет его в будущем. Каждый из них так или иначе пытается протестовать против насильственной смерти, бесправия и унижений, запущенных бездушной армейской машиной.

ISBN 978-5-6049166-3-6

© Пассос Д. Д., 1921

© СОЮЗ, 1921

Содержание

Часть первая	6
Часть вторая	30
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Джон Дос Пассос

Три солдата

JOHN RODERIGO DOS PASSOS

«Three Soldiers», 1921



© ИП Воробьёв В.А.

© ООО ИД «СОЮЗ»

Часть первая

Отливается форма

I

Рота стояла, выстроившись во фронт. Каждый человек смотрел прямо перед собой вдоль пустого учебного плаца, на котором вечер обливал багрянцем кучи угольного шлака. В ветре, пахнувшем бараками и дезинфекцией, уже слегка чувствовался жирный запах готовившейся еды. На другом конце просторного плаца длинные ряды людей медленно вливались в узкий деревянный барак, служивший столовой. Опустив подбородки, выпятив грудь, с подергивающимися от усталости после дневных занятий ногами, рота стояла во фронт. Каждый человек смотрел прямо перед собой: одни тупо и покорно, другие изучая, ради развлечения, до мелочей каждый предмет, попадавший в их поле зрения, – кучи мусора, длинные цепи барачных и столовых, у которых толпились люди, плевавшие и курившие, прислонившись к дощатым стенам. Было так тихо, что некоторые из стоявших в строю различали тиканье часов в своих карманах.

Кто-то сделал движение, и ноги его заскрипели на покрытой шлаком земле. Голос сержанта прорычал:

– Подтянись! Не елозить в строю!

Солдаты, стоявшие рядом с провинившимся, покосились на него.

Два офицера направлялись к ним из самой глубины плаца. По их жестам и по тому, как они шли, стоявшие в строю солдаты догадывались, что они говорят о чем-то, живо их интересующем. Один из офицеров по-мальчишески рассмеялся, повернулся и медленно пошел назад через поле. Другой, лейтенант, улыбаясь направился к ним. Когда он подошел к роте, улыбка исчезла с его лица; он выпятил подбородок и зашагал тяжелыми размеренными шагами.

– Можете распустить роту, сержант! – Голос лейтенанта звучал отрывисто и резко.

Рука сержанта взметнулась вверх, к фуражке, точно крыло семафора.

– Рота, во-ольно! – прокричал он.

Ровная линия одетых в хаки людей превратилась в толпу отдельных индивидуумов в запыленных сапогах, с пыльными лицами. Десять минут спустя они выстроились и промаршировали колонной по четыре в ряд к котлу. Раскаленные волокна нескольких электрических ламп мутно освещали коричневатую мглу барака. Длинные столы, скамьи и дощатые полы издавали слабый запах кухонных отходов, смешанный с запахом дезинфекции, которой вытирали столы после каждой еды.

Держа перед собой свои овальные манерки, солдаты проходили гуськом мимо больших котлов, из которых обливающиеся потом дежурные по кухне, в синих халатах, выплескивали в каждую манерку порцию мяса с картофелем.

– Сегодня как будто недурно, – сказал Фюзелли; он засучил рукава над кистями и наклонился над своей дымящейся порцией. Это был крепкий малый с кудрявыми волосами и толстыми, мясистыми губами; он жадно чмокал ими во время еды.

– Как будто, – отозвался сидевший против него розовый юноша с льняными волосами, не без ухарства сдвинув набок свою широкополую шляпу.

– Я сегодня получил увольнительный, – сказал Фюзелли, гордо подняв голову.

– Небось, к девочкам пойдешь?

– Голова!.. У меня дома, в Фриско, есть невеста... Славная девчурка!

– И прав, что не связываешься с здешними девчонками. Все они грязнули, в этом проклятом городишке. Да! Уж если собираешься за океан, так держись крепче... – Юнец с льняными волосами с серьезным видом перегнулся через стол.

– Пойти взять, что ли, еще жратвы? Подождешь меня? – сказал Фюзелли.

– А что ты будешь делать в городе? – спросил белобрысый юнец, когда Фюзелли вернулся.

– Не знаю. Пошатаюсь немного, заверну в кино, – ответил тот, набивая рот картошкой.

– Черт побери, сейчас пробьют зорю, – услышал он голос за собой.

Фюзелли набил рот как только мог полнее и скрепя сердце выбросил остатки в бак для отбросов.

Через несколько минут он стоял уже, вытянувшись во фронт в ряду одетых в хаки людей, ничем не отличаясь от сотни других одетых в хаки людей, которые заполнили теперь весь плац. Где-то на другом конце, у флагштока, заиграл горнист. Фюзелли почему-то вспомнил чиновника, сидевшего за письменным столом в рекрутском бюро. Передавая ему бумаги, отсылавшие его в лагерь, чиновник сказал: «Я хотел бы отправиться с вами» – и протянул ему белую костлявую руку. Фюзелли после минутного колебания пожал ее своей грубой и загорелой рукой. Чиновник прибавил с чувством: «Это должно быть великолепно, именно великолепно – чувствовать постоянную опасность, сознавать, что каждую минуту можешь погибнуть. Желаю счастья, юноша, желаю счастья!» Фюзелли с неудовольствием вспомнил его белое, как бумага, лицо и зеленоватый оттенок его лысого черепа; но слова эти все же заставили его выйти из бюро большими шагами, и он свирепо растолкал на ходу кучку людей, столпившихся в дверях. Даже теперь воспоминание об этом, смешиваясь со звуками национального гимна, наполняло его сознанием собственной значительности и силы.

– Правое плечо вперед, марш! – раздалась команда. Песок захрустел под ногами. Роты возвращались в свои бараки. Фюзелли хотелось улыбнуться, но он не осмеливался. Ему хотелось улыбаться, потому что у него был отпуск до полуночи, потому что через десять минут он будет уже за воротами, по ту сторону зеленого забора, часовых и переплета из колючей проволоки.

– Кр... кр... кр... – скрипит песок.

Как медленно они ползут! Он теряет время, драгоценные свободные минуты. «Правой, правой!» – покрикивал сержант, когда кто-нибудь сбивался с ноги; глаза его сверкали, как у раздраженного бульдога.

Рота снова выстроилась в темноте. Фюзелли от нетерпения кусал губы. Минуты ползли невыносимо медленно.

Наконец, как бы нехотя, сержант прокричал:

– Во-ольно!

Фюзелли ринулся к воротам, с буйной бесцеремонностью прокладывая себе дорогу. Он почувствовал под собой асфальт улицы; перед ним тянулся длинный ряд палисадников; там, вдали, фиолетовые дуговые фонари, повиснув на своих железных стержнях над молодыми недавно посаженными деревцами, окаймлявшими аллею, уже соперничали с бледными отблесками зари. Он остановился на углу, прислонившись к телеграфному столбу; лагерный забор, по верху которого тянулась в три ряда колючая проволока, был за его спиной. Куда бы направиться? Паршивый город! А он-то думал – вот попутешествую, увижу свет! «То-то сладко покажется дома после всего этого», – пробормотал он.

Спускаясь по длинной улице к центру города, где находился кинематограф, он думал о своем доме, о темной квартире в самом низу семиэтажного дома, где жила его тетка. «И мастерица же она стряпать», – пробормотал он с сожалением.

В такой вот теплый вечер, как этот, можно было бы постоять на углу, где аптека, болтая с знакомыми парнями и задевая прогуливающих под ручку парочками да по три штуки девушек – они-то делают вид, что не замечают преследующих их взглядов. А еще можно было

бы отправиться с Элом (который работал в том же магазине оптических приборов, что и он) побродить по залитым огнями улицам той части города, где находятся театры и рестораны. Или забраться с порт! Они уселись бы, покуривая, и смотрели бы на темно-пурпуровую гавань с ее мигающими огнями и движущимися парами, отбрасывающими на воду из своих квадратных огненно-красных иллюминаторов колеблющиеся отражения. Если бы им повезло, они увидели бы, как через Золотые Ворота входит большой трансокеанский пароход, постепенно превращаясь из светлого пятна в огромное движущееся сияние; словно огромный, залитый огнями театр вырос на барже; слышен вдруг шум винта, слышно, как разбегается, журча, вода перед корабельным носом, разрезающим тихие воды бухты, или вдруг звуки духового оркестра долетают, попеременно – то тихие, то громкие. «Когда я разбогатею, – говорил обыкновенно Фюзелли, обращаясь к Элу, – непременно прокачусь на таком вот пароходе».

– Твой папаша, кажется, тоже приехал из Старого Света на таком? – спрашивает Эл.

– Ну, он приехал на эмигрантском. Я бы уж лучше остался дома, чем ехать на палубе. Мне, брат, подавай первый класс и каюту-люкс, когда я разбогатею.

А теперь он очутился на востоке, в этом городе, где он никого не знает и где некуда даже пойти, кроме как в кинематограф.

– Хелло, приятель, – раздался позади него голос.

Высокий юнец, сидевший, против него за обедом, нагонял его.

– В кино?

– А то куда же?

– Вот новичок. Только сегодня утром попал в лагерь, – сказал высокий юноша, мотнув головой в сторону человека, стоявшего рядом с ним.

– Ничего, привыкнешь! Не так уж плохо, как кажется с первого раза, – ободряюще сказал Фюзелли.

– Я как раз говорил ему, – сказал юноша. – Главное, держи ухо востро и не вляпайся. Стоит раз оплошать в этой треклятой армии – и полетишь к черту!

– Да уж это как в аптеке... Так тебя подкинули в нашу роту? Ну что ж, у нас не худо. Сержант – приличный парень, но дело, конечно, спрашивает. Вот лейтенант, тот, действительно, вонючка... Ты откуда?

– Из Нью-Йорка, – сказал новобранец, маленький человечек лет тридцати, с пепельно-серым лицом и блестящим еврейским носом. – Я портной. Меня вообще должны были освободить! Это безобразие! Я чахоточный! – Он выкрикивал эти слова слабым пискливым голосом.

– Уж они приведут тебя в порядок, можешь не беспокоиться, – сказал высокий юноша. – Так поправят, черт возьми, что сам себя не узнаешь! Мать – и та не узнает, когда ты вернешься домой... Тебе везет!

– Как так?

– Да так, что ты из Нью-Йорка. Капрал Тим Сандис тоже оттуда, и всем нью-йоркским ребятам с ним лафа.

– Какие папиросы ты куришь? – спросил высокий юнец.

– Я не курю вовсе.

– Лучше бы курил. Капрал не прочь выкурить иногда хорошую папиросу и сержант тоже... Никогда не мешает угостить хорошей папиросочкой... для поддержания отношений.

– Ни черта не стоит, – сказал Фюзелли, – все дело в счастье. А на всякий случай держи себя в чистоте да в аккурате и улыбайся пошире – пойдет как по маслу. Ну, а захотят на тебе ездить, становись на дыбы. Надо здоровую шкуру иметь, чтобы добиться чего-нибудь на военной службе.

– Верно! Ей-ей, верно! – сказал высокий юноша. – Главное, не давай им оседлать себя. Как тебя зовут, новичок?

– Эйзенштейн.

– Этого товарища зовут Поуэрс, Билл Поуэрс. Меня – Фюзелли... Пойдешь в кинематограф, Эйзенштейн?

– Нет, я лучше поищу девочку. – Маленький человечек бледно подмигнул. – Рад был познакомиться.

– Вишь, какой, – сказал Поуэрс, когда Эйзенштейн отошел и направился по боковой улице, обсаженной, как и аллея, молодыми деревьями. Их чахлые листья шелестели при слабом ветерке, пахнувшем фабриками и угольной пылью.

– Что ж, евреи народ ничего, – сказал Фюзелли. – У меня есть один большой друг, тоже еврей.

Они выходили из кинематографа в потоке людей, среди которых преобладали темные костюмы фабричных.

– Я чуть было не разревелся, когда парень в картине прощался со своей девушкой, чтобы отправиться на войну, – сказал Фюзелли.

– В самом деле?

– Это было точка в точку, как со мной. Бывал ты когда-нибудь в Фриско, Поуэрс?

Высокий юнец покачал головой. Он снял широкополую шляпу и взъерошил пальцами свою лохматую голову.

– Ну и жарница же там была, черт побери, – пробормотал он.

– Так вот, видишь ли, – продолжал Фюзелли. – В Окленд нужно переправиться на пароме. Моя тетка... Ведь ты знаешь, что у меня нет матери, я живу с детства у тетки. Моя тетка, невестка и Мэб... Мэб – это мой предмет. Словом, они все переправились вместе на пароме, хотя я и заявил им, что не желаю этого. А Мэб и говорит мне, что она страсть как на меня обозлилась, потому что прочитала письмо, которое я написал Джорджине Слаттер. Штучка была там одна, жила тоже на нашей улице. Я ей ерундовские записки писал. Ну, я стал уверять Мэб, что сделал это просто так, черт его знает зачем, дурачился просто, и ничего тут нет серьезного. А она все твердит, что никогда не простит мне. А я и говорю, что, может, меня убьют и она никогда не увидит меня. И тут мы все как зарежем! Ну и история была...

– Чертовски неприятно расставаться с девушками, – сказал Поуэрс сочувственно. – Вконец расстраиваешься. Уж лучше, по-моему, иметь дело с девками. С ними-то хоть попрощаться не приходится.

– А имел ты дела с девками?

– Собственно, не очень... – признался высокий юноша; его розовое лицо так сильно покраснело, что это можно было заметить даже при бледном свете дуговых фонарей.

– Я с ними повозился, – заявил Фюзелли с некоторой гордостью. – Как-то раз я путался с одной девкой-португалкой. Ну и перец же была! Конечно, я все это бросил после помолвки, хотя... Да, так я тебе начал рассказывать. Ну, наконец мы помирились, я поцеловал ее, и Мэб сказала, что никогда не выйдет ни за кого, кроме меня. Как-то мы гуляли по улице, и я высмотрел в окне магазина шелковый военный флажок, настоящая мечта. Со звездой и весь разукрашенный, хоть кому бы понравился. Я сказал себе: это я подарю Мэб. Побежал и купил его. Наплевать мне было, сколько он стоит. И вот, когда мы все целовались и ревели при прощании, я сунул его ей в руку и сказал: «Береги это, девочка, и не забывай меня». И что бы ты думал она сделала? Вытащила пятифунтовую коробку леденцов из-за спины и говорит: «Только, смотри, не объешься, Дэн!» И ведь она все время держала ее при себе, коробку-то, а я и не заметил. Ну не умницы ли эти девочки?

– Да-а, – неопределенно сказал высокий юноша.

Когда Фюзелли вернулся в бараки, вдоль рядов коек шли взволнованные разговоры.

– Вот так штука, черт возьми! Кто-то удрал из тюрьмы.

– Как?

– Да будь я проклят, если я знаю!

- Сержант сказывал, что он скрутил веревку из одеял.
- Из какой он роты?
- Не знаю.
- А как звать его?
- Не знаю. Какой-то молодчик, был под следствием за неповиновение. Заехал офицеру кулаком в рыло.
- Хотел бы я посмотреть на это!
- Как бы то ни было, но на этот раз он влип!
- Да уж, черт меня побери!
- Замолчите вы когда-нибудь, ребята! – прогремел сержант, читавший газету за маленьким столиком у дверей барака при слабом свете тщательно завешенной лампочки. – Вот накличете на свою голову дежурного офицера!

Фюзелли завернулся с головой и приготовился заснуть. Уютно закутавшись в одеяло на своей узкой койке, он чувствовал себя укрытым от громового голоса сержанта и от блеска холодных глаз офицера. Ему было уютно и радостно, как бывало в своей постели дома, когда он был еще совсем малышом. На минуту он представил себе того другого человека – человека, ударившего офицера кулаком по лицу, – одетого, как и он, быть может, тоже девятнадцатилетнего, и у которого, вероятно, была девушка вроде Мэб, поджидавшая его где-нибудь дома. Как холодно и страшно, должно быть, очутиться вне лагеря и знать, что тебя разыскивают.

Ему представилось, что он сам бежит, задыхаясь, вдоль длинной улицы, а за ним по пятам гонится вооруженный отряд; глаза офицеров сверкают жестоким блеском, как заостренные концы пуль... Он плотнее закутал голову одеялом, наслаждаясь теплотой и мягкостью шерсти у своей щеки. Нужно во что бы то ни стало не забыть улыбнуться сержанту, когда встретишь его вне службы. Кто-то говорил, что скоро будут производства. Ах, как бы ему хотелось получить повышение! То-то здорово было бы, если бы он мог написать Мэб, чтобы она теперь адресовала свои письма капралу Дэну Фюзелли. Он должен быть очень осторожен, чтобы чем-нибудь не испортить дела, а главное, надо стараться при всяком случае показать им, какой он дельный малый. «О, когда нас отправят за океан, уж я покажу им себя», – подумал он с жаром и начал засыпать, рисуя себе длинные кинематографические ленты героизма.

Резкий голос у его койки заставил его привскочить.

– Эй, вы, вставайте!

Белый луч карманного потайного фонарика был направлен прямо в лицо его соседа по койке.

«Дежурный офицер», – сказал себе Фюзелли.

– Эй, вы, вставайте! – раздался снова резкий голос.

Человек на соседней койке зашевелился и открыл глаза.

– Встать!

– Слушаюсь, сэр, – пробормотал тот, сонно мигая от ослепительного света. Он вскочил с кровати и неуверенно вытянулся во фронт.

– Ничего не придумали умнее, как спать в дневной рубахе? Снимите ее!

– Слушаюсь, сэр!

– Ваша фамилия?

Человек поднял глаза, мигая, слишком ошеломленный, чтобы ответить.

– Не знаете собственного имени? – сказал офицер, свирепо глядя на него. Его резкий голос резал точно удар хлыста. – Живо снять рубаху и штаны и марш в постель!

Дежурный офицер двинулся дальше в полуночный обход, направляя свой фонарик то в одну, то в другую сторону. Снова сгущенная темнота, глубокое дыхание и храп спящих людей. Засыпая, Фюзелли слышал, как его сосед монотонно ругался ровным шепотом, останавливаясь

время от времени, чтобы придумать новую комбинацию слов, отводя в брани свою бессильную ярость и убаюкивая самого себя однообразным повторением проклятий.

Немного позднее Фюзелли проснулся со сдавленным криком от кошмара. Ему приснилось, что он ударил дежурного офицера по щеке и убежал из тюрьмы. Он бежал, задыхаясь, спотыкаясь, падая, а за ним по проспекту, обсаженному маленькими засохшими деревцами, по пятам, настигая его, гнался отряд караульных, и голоса офицеров, отдавая команду, звенели, как щелканье ружейных курков. Он был уверен, что его поймают, что он будет убит. Он содрогнулся, стряхивая кошмар, как собака стряхивает с себя воду, и заснул снова, плотно закутавшись в свои одеяла.

II

Джон Эндрюс стоял голый на середине большой пустой комнаты, потолок, стены и пол которой были сколочены из неотесанных сосновых досок. Воздух был тяжелый от парового отопления. На столике в одном углу судорожно щелкала пишущая машинка.

– Скажите, молодой человек, как пишется «кретинизм»? Через «е» или через «и»?

Джон Эндрюс подошел к столу, ответил и прибавил:

– Вы собираетесь экзаменовывать меня?

Человек не отвечая принялся снова писать на машинке. Джон Эндрюс стоял посреди комнаты, сложив руки, полузаинтересованный, полураздраженный, переминаясь с ноги на ногу, и невольно прислушивался к стуку машинки и голосу человека, читавшего вслух каждое слово рапорта, который он переписывал.

– Представляется к увольнению от военной службы... – Клик-клик. – Чертова машинка... рядовой Кой Элберт. Чтоб их черт побрал, эти паршивые армейские машинки! Причина – кри... кретинизм... История болезни...

В этот момент сержант, принимавший новобранцев, вернулся обратно.

– Послушайте, Билл, если вы через десять минут не кончите переписывать этот рапорт, капитан Артур взбесится, как черт. Ради самого Бога, поторопитесь! Он и так уже говорит, что, если вы не умеете работать, нужно будет подыскать кого-нибудь порасторопнее. Ведь вам не улыбается потерять место? Хелло! – Глаза сержанта остановились на Джоне Эндрюсе. – Я и позабыл о вас. Побегайте немного по комнате... легче, легче... чтобы я мог проверить ваше сердце. Господи, до чего эти новички жирные! Безропотно позволяя ощупывать и измерять себя, точно лошадь, которую оценивают на ярмарке, Джон Эндрюс прислушивался к человеку за машинкой.

– Половой из... о черт, эта резинка никуда не годится!..вращенности и склонности к пьянству не замечено, детство провел нормально, на ферме. Внешний вид нормальный; хотя замечается дефективное... Скажите, сколько «ф» в слове «дефективное»?

– Ладно, одевайтесь, – сказал сержант. – Живо! Не могу же я терять из-за вас целый день. Почему, черт возьми, они прислали вас сюда одного?

– Мои бумаги были не в порядке.

– Чув... муст... ум... – продолжал голос человека за машинкой. – У-м-с-т-в-е-н-н-ы-е способности восьмилетнего ребенка. Кажется неспособным ни к... Черт был побрал каракули этого человека! Как я могу переписывать, когда он сам не дописывает слов!

– Хорошо! Я думаю, что вы подходите. Теперь нужно еще выполнить некоторые формальности. Пройдите сюда!

Эндрюс перешел за сержантом к конторке, стоявшей в дальнем углу комнаты, куда уже едва долетало щелканье машинки и сердитое ворчание пишущего.

– Забывает исполнять приказания... не поддается никаким внушениям... памяти никакой...

– Ладно! Возьмите это с собой в барак Б. Четвертое строение направо. Только поживее! – сказал сержант.

Выйдя из околотка, Эндрюс набрал полные легкие живительного воздуха. Минуту он простоял в нерешительности на деревянных ступенях строения, глядя вдоль ряда наспех выстроенных барачных окон. Некоторые были выкрашены в зеленый цвет, другие сохраняли цвет досок, а третьи все еще оставались только скелетами. Над головой его по необъятному простору неба медленно плыли большие груды окрашенных в розовое облаков. Взгляд Эндрюса соскользнул с неба на высокие деревья за пределами лагеря, горевшие яркой желтизной осени, а оттуда – на конец длинной улицы барачных окон, где виднелся часовой, шагавший взад и вперед, взад и вперед. Его брови на минуту сдвинулись, затем с некоторой нерешительностью он направился к четвертому строению направо.

Джон Эндрюс мыл окна. Он стоял, в грязной синей куртке, на верхушке лестницы и натирав мыльной тряпкой мелкие стекла барачных окон. Его ноздри были полны запаха пыли и смешанного с песком мыла. Маленький человечек с серовато-красной щекой, набитой изнутри табачной жвачкой, следовал за ним, тоже на лестнице, протирая стекла сухой тряпкой, пока они не начинали блестеть, отражая пятнистое облачное небо. Ноги у Эндрюса устали от лазанья вверх и вниз по лестнице, руки саднили от скверного мыла. Во время работы он без всякой мысли смотрел вниз на ряды комок с одинаково сложенными одеялами, на которых кое-где валялись солдаты в позах, говоривших о полном изнеможении. Его уже не раз за это время поражало то, что он ни о чем не думал. В последние несколько дней его ум, казалось, превратился в грубую, твердую массу.

– Долго нам еще корпеть над этим? – спросил он человека, работавшего с ним. Тот продолжал жевать, так что Эндрюс подумал, что он совсем не собирается ответить ему. Он только хотел заговорить снова, когда человек, задумчиво покачиваясь на верхушке лестницы, выдал из себя:

– Четыре часа.

– Значит, нам не кончить сегодня?

Человек покачал головой и сплюнул, сморщив лицо в необыкновенную гримасу.

– Давно здесь?

– Не очень.

– Сколько?

– Три месяца... Не так уж много. – Человек снова сплюнул и, спустившись со своей лестницы, ждал, прислонившись к стене, когда Эндрюс кончит намыливать окно.

– Я с ума сойду, если проторчу здесь три месяца. Я здесь неделю, – пробормотал Эндрюс сквозь зубы, слезая вниз и передвигая лестницу к следующему окну.

Они снова молча взобрались наверх.

– Как это вы попали в уборщики? – снова спросил Эндрюс.

– Легких нет.

– Почему же вас не освобождают?

– Да, должно быть, скоро и освободят.

Они довольно долго продолжали работать молча. Эндрюс начал с верхнего угла направо и намыливал по очереди каждое стекло. Затем он спустился вниз, передвинул лестницу и полез на следующее окно. По временам он для разнообразия начинал с середины окна. По мере того как он работал, какая-то мелодия начинала прокладывать себе путь в твердой сердцевине его мозга, вызывая в нем брожение, размягчая его. В ней отражалась вся безмерная пыльная тоска этой жизни: люди, застывшие в строю на учении, вытянувшиеся во фронт; однообразный мерный топот ног, пыль, поднимавшаяся от батальонов, марширующих взад и вперед по пыльным учебным плацам. Он чувствовал, как мелодия заполняет все его тело от ноющих рук до ног, уставших от маршировки взад и вперед, от необходимости вытягиваться в одну и ту же линию

с миллионами других ног. Его ум начал бессознательно, по привычке разрабатывать мелодию, инструментировать ее. Он чувствовал в себе огромный оркестр, заполняющий его целиком. Сердце его билось быстрее. Он должен обратить это в музыку, он должен запечатлеть это в себе, чтобы воплотить в симфонию и записать, чтобы оркестры могли играть ее, чтобы несметные толпы восприняли ее и содрогнулись до мозга костей.

Он работал не переставая весь бесконечный день, карабкаясь вверх и вниз по лестнице, натирая окна барака мыльной тряпкой. Одна глупая фраза, застрявшая в его мозгу, вытеснила оттуда поток музыки: *Arbeit und Rhythmus*. Он без конца повторял ее про себя: «*Arbeit und Rhythmus*». Он попробовал было изгнать из своего сознания эти слова и снова погрузиться в ритм музыки осенившей его симфонии, выражавшей пыльную тоску, насильственное втискивание теплых, полных движений, своеобразия и стремления тел в неподвижные формы, напоминавшие те формы, в которые выливают оловянных солдат. Но кто-то, казалось, грубо кричал ему в уши все те же слова: «*Arbeit und Rhythmus!*» Этот голос заглушал все остальное, истязая его мозг, иссушая его и снова превращая в твердую засохшую массу.

Вдруг он громко рассмеялся. Да ведь это же были немецкие слова... Его готовили к тому, чтобы убивать людей, говоривших таким образом; если бы кто-нибудь произнес это, он убил бы его. Они будут убивать всякого, кто говорит на этом языке, он и все остальные, – те, которые маршировали сейчас по учебному полю, чьи ноги вытягивались на плацу в одну и ту же линию.

III

Было субботнее утро. Три солдата в синих блузах подметали листья на улице между рядами барачков, под командой капрала, кривоногого итальянца, умудрявшегося даже при солдатском столе распространять вокруг себя легкий запах чеснока.

– Тянетесь, точно слюни! Пошевеливайтесь, ребята... через двадцать пять минут инспекция! – повторял он.

Солдаты продолжали работать не обращая на него внимания.

– Ни черта не стараетесь! Если увидит инспекция, мне наговорит, не вам. Поживее, пожалуйста. Эй, вы там, подберите эти окаянные окурки!

Эндрюс сделал гримасу и начал собирать маленькие серые, грязные кончики выкуренных папирос. Когда он нагнулся, глаза его встретились с темно-кариими глазами солдата, который работал возле него. Глаза были сужены от злобы, а мальчишеское лицо пылало под загаром.

– Не для того я полез в эту чертову армию, чтобы всякий проклятый идиот командовал мной, – негромко ворчал он.

– Собственно, не так уж важно, кто тобой командует, – командовать будут все равно, – сказал Эндрюс.

– Ты откуда будешь, товарищ?

– Из Нью-Йорка! Моя семья из Виргинии, – сказал Эндрюс.

А я из Индианы... Делай вид, что работаешь, а то эта проклятая обезьяна опять ползет из-за угла.

Да не ворошите вы их на месте, а выметайте вон! – закричал капрал.

Эндрюс и парень из Индианы обошли место перед бараками с метлой и лопатой, собирая жеваную табачную жвачку, папиросные окурки и клочки грязной бумаги.

– Как тебя звать? Мое имя Крисфилд. Ребята зовут меня Крис.

Меня Эндрюс, Джон Эндрюс.

– У моего папаши там, дома, был работник, тоже Энди. Заболел и помер прошлым летом. Как ты думаешь, не скоро еще нас переправят через океан?

– Не знаю.

– Хотелось бы мне поглядеть на те края.

– Эй, ребята, что же вы тут торчите! Ступайте-ка, опорожните мусорные ящики. Живее! – кричал капрал, с важным видом расхаживая на своих кривых ногах. Он не отрывал глаз от улицы, тянувшейся вдоль барачных, и бормотал себе под нос: – Проклятье... вот уже время инспекции... черт... никогда они не опаздывали...

Внезапно лицо его застыло в почтительной неподвижности. Он поднес руку к околышу фуражки. Группа офицеров прошла мимо него в ближайшее строение.

Джон Эндрюс, возвращаясь после чистки мусорных ящиков, вошел через заднюю дверь в свой барак.

– Смирно! – раздался окрик с другого конца.

Он, насколько мог, сделал неподвижными шею и руки. В тишине барачных раздавалось резкое постукивание каблуков инспектирующих офицеров. Желтое лицо с впалыми глазами и тяжелой квадратной челюстью приблизилось к глазам Эндрюса. Он смотрел прямо перед собой, разглядывая несколько рыжеватых волосков на кадыке офицера и новые нашивки по обеим сторонам его воротника.

– Сержант, кто этот человек? – раздалось из бледного лица.

– Не могу знать, сэр, новобранец, сэр. Капрал Валери, кто этот человек?

– Его имя Эндрюс, сержант, – сказал капрал-итальянец с подобострастной дрожью в голосе.

Офицер обратился прямо к Эндрюсу, быстро и громко отчеканивая слова:

– Сколько времени вы служите в армии?

– Неделю, сэр!

– Вам не известно, что вы должны быть каждую субботу начисто выбриты, умыты и готовы к осмотру в девять часов?

– Я чистил бараки, сэр!

– Не возражать, когда к вам обращается офицер! – Офицер тщательно отчеканивал слова, подчеркивая их. Делая замечание Эндрюсу, он покосился украдкой на своего начальника и заметил, что майор хмурится. Его тон тотчас же слегка изменился. – Если это случится еще раз, вы будете подвергнуты дисциплинарному взысканию... Смирно там! – Кто-то шевельнулся на другом конце барака.

В абсолютной тишине снова раздалось щелканье офицерских каблуков. Осмотр продолжался.

– Ну, ребята, теперь все вместе! – закричал христианский юноша, стоявший, широко растопырив руки, перед экраном кинематографа.

Фортепьяно загремело, и толпа солдат, набившаяся в комнату, проревела в один голос:

Ура! Ура! Команда в сборе!

Мы против кайзера идем!

Мы против кайзера идем!

Балки загудели от их сильных голосов. Картина началась. Джон Эндрюс исподтишка наблюдал вокруг себя. Рядом с ним сидел парень из Индианы, прикованный к экрану, а кругом повсюду возвышались над одетыми в хаки телами низко остриженные головы; изредка в белом мигающем свете экрана поблескивала чья-нибудь пара глаз. Волны смеха и легких восклицаний то и дело пробегали над ними. Они были так одинаковы, что минутами казались одним существом. Вот чего он искал, когда поступал в армию, сказал он себе. Тут он укроется от охватившего его ужаса перед миром. Возмущение, беспокойные мысли, собственная индивидуальность, которую он, точно зная, высоко поднимал над мятежом, измучили его вконец. Так было гораздо лучше: предоставить жизни идти своим чередом, истребить в себе эту сводящую с ума жажду музыки, втоптать себя в тину общего рабства. Мрачная злоба все еще под-

нималась в нем при воспоминании о голосе офицера в это утро: «Сержант, кто этот человек?» Офицер смотрел ему в лицо, как смотрят на мебель.

– Ну и картина! – Крисфилд обернулся к Эндрюсу с улыбкой, которая прогнала его раздражение и вызвала приятное чувство товарищества.

– Сейчас вот самая интересная часть. Я видел уже это в Фриско, – сказал человек по другую сторону Эндрюса.

– Черт, после нее просто возненавидишь этих гуннов!

Человек, сидевший у рояля, громко забарабанил в перерыве между двумя частями фильма. Парень из Индианы обнял Эндрюса за плечи и нагнулся вперед, обращаясь к его соседу с другой стороны:

– Из Фриско?

– Да!

– Вот штука-то, черт возьми! Вы с Тихого океана, этот парень из Нью-Йорка, а я из старой Индианы – как раз посередине...

– Из какой роты?

– Да не из какой пока... Мы с этим парнем в уборщиках.

– Чертовское место... Меня зовут Фюзелли.

– Меня Крисфилд.

– Меня Эндрюс.

– А долго приходится торчать в этом лагере до отправки?

– Не знаю! Одни ребята говорят три недели, а другие – шесть месяцев. Послушайте, да не сунут ли вас в нашу роту? На днях они переправили кучу народа, и капрал сказал, что нам дадут вместо них новичков.

– Черт бы их побрал! Поскорее бы за океан!

– Что и говорить, хорошие места, – сказал Фюзелли. – Все там ну просто как на картине. Живописно, как говорится. И люди носят крестьянские платья... У меня дядька был оттуда, так рассказывал, как там все. Из-под Турина он был.

– А это где будет?

– Почему я знаю? Где-то в Италии!

– Скажи-ка, а много времени нужно, чтобы переправиться через океан?

– О, неделю-две, – сказал Эндрюс.

– Так долго!

Но кинематограф заработал снова. На ленте замелькали солдаты в заостренных шлемах, вступающие в бельгийские города, где то и дело попадались запряженные собаками тележки с молоком и старые женщины в крестьянских костюмах. Когда на картине показывался германский флаг, в зале поднимались свист и гиканье, а когда лента изображала, как немцы закалывают мирных граждан в широких голландских штанах и старых женщин в накрахмаленных чепцах, солдаты, набившиеся в барак ХАМА, посылали им громкие проклятья. Эндрюс чувствовал, как слепая ненависть в сидевших около него парнях нарастала, точно это было нечто, имеющее самостоятельное бытие. Она заражала его и увлекала, точно он находился среди охваченного паникой стада. Ужас, подобно хищным рукам, сжимал его горло. Он посмотрел на лица окружающих – они все были полны напряженного внимания, разгорячены и блестели от пота в жаркой комнате.

Выходя из барака, стиснутый в плотном потоке солдат,двигающихся к выходу, Эндрюс услышал, как кто-то сказал:

– Я никогда в жизни не обижал женщины, но клянусь Богом, что теперь я это сделаю! Ничего бы не пожалел, чтобы изнасиловать какую-нибудь проклятую немку!

– Я их тоже не перевариваю, – раздался другой голос, – мужчин, женщин, детей и даже... и даже не родившихся ребят. Они или круглые идиоты, или такие же бандиты, как их правители, если позволяют этой шайке генералов командовать над собой.

– Вот если попадется мне в плен германский офицер, я его сначала заставлю сапоги чистить, а потом пристрелю, как собаку, – сказал Крис Эндрюсу, когда они возвращались по длинной улице в свой барак.

– Правда?

– Да! Только сейчас мне хотелось бы подстрелить кое-кого другого! – с жаром продолжал Крис. – Недалеко искать придется; уж я сделаю это, если он не перестанет приставать ко мне!

– Кто это?

– А этот большой балбес Андерсон, правофланговый. Он, кажется, вбил себе в голову, что если я ниже его ростом, то уж он может издеваться надо мной как хочет.

Эндрюс круто обернулся и посмотрел в лицо своему спутнику. Что-то в мрачном голосе парня поразило его. Для него все это было необычно. Он считал себя горячим человеком, но никогда в жизни не чувствовал желания убить кого-нибудь.

– Ты в самом деле хочешь убить его?

– Пока еще нет, но он меня доводит до черта своим приставанием. Вчера я замахнулся на него ножом. Тебя тогда не было. Разве ты не заметил, что я был немного не в себе на учении?

– Да... но сколько тебе лет, Крис?

– Двадцать. Ты ведь постарше меня будешь, правда?

– Мне двадцать два. – Они стояли прислонившись к стене своего барака и смотрели вверх, в сияющую звездную ночь.

– Скажи-ка, что там, за океаном, такие же звезды, как здесь?

– Должно быть, такие же, – ответил Эндрюс смеясь. – Хотя я никогда не бывал там и не видел их!

– Мне не пришлось много учиться, – продолжал Крис. – Я вышел из школы, когда мне было двенадцать, потому что толку от этого было мало, а отец сильно пил – так я понадобился на ферму для работы.

– Что у вас там сеют в Индиане?

– Больше всего маис, потом еще пшеницу и табак, а главное, скота много разводят. Так вот я как раз хотел рассказать тебе, как я раз чуть не уложил одного молодца.

– Расскажи-ка!

– Я в то время здорово пил. Бедовая была у нас тогда компания. Работали мы, бывало, только покуда не наберем достаточно монет, чтобы покутить с девочками. В картишки тоже дулись и виски лакали здорово. Случилось это как раз во время жатвы. Черт, я уже и забыл даже, из-за чего все вышло, только поссорился я с одним парнем, с которым мы до того были настоящими друзьями. Он замахнулся и ударил меня по щеке. Не помню, что я тут сделал, только прежде чем я успел что-нибудь сообразить, у меня в руке очутился рабочий нож, и я занес его над парнем. Такой нож... если всадить в человека – тут ему и конец. Потребовалось четверо молодцов, чтобы удержать меня и вырвать нож. А все-таки я успел ему здорово раскроить грудь. Я был просто до чертиков пьян тогда. Эх, брат, и вид же у меня был, когда я возвращался домой: половина платья содрана, рубаха в клочья... Свалился я в канаву и проспал там до самого утра, все волосы в грязи вывалял... А теперь я редко когда и каплю в рот возьму.

– Так тебе тоже хочется поскорее за океан, Крис? – сказал Эндрюс после долгой паузы.

– Я спихну этого гуся Андерсона в море, если нас отправят на одном пароходе, – сказал Крис смеясь, но после паузы прибавил: – Скверно было бы все-таки, если бы я уложил тогда этого парня. Вот уж, по совести говорю, не хотел я этого.

– Да, брат, скрипач – это дело прибыльное, – сказал кто-то.

– Вовсе нет, – раздался меланхолический, тягучий голос из тощего человека, который сидел согнувшись вдвое, положив свое длинное лицо на руку и уперев локти в колени. – Только-только кормит.

Несколько человек толпились в глубине барака. Длинный ряд коек, освещенный случайными слабыми отсветами электрических ламп, тянулся от них к маленькому столику сержанта около дверей. Некоторые уже спали, другие торопливо раздевались.

– Увольняешься, не так ли? – спросил человек с сильным ирландским акцентом и красным лицом веселой гориллы, выдававшим в нем содержателя бара.

– Да, Фланнаган, увольняюсь, – уныло произнес тощий человек.

– Вот уж не везет парню, – раздался голос из толпы.

– Да, не везет, братец, – сказал тощий человек, рассматривая впалыми глазами лица столпившихся вокруг него солдат. – Я должен был бы зарабатывать сорок долларов в неделю, а здесь я едва выколачиваю семь, да к тому же еще служу в армии.

– Да я не про то. Не везет, говорю, что из этой проклятой армии увольняют.

– «Армия, армия, демократическая армия!» – запел кто-то шепотом.

– Ну а я, черт возьми, хочу отправиться за океан гуннов посмотреть, – сказал Фланнаган, ухитрившийся с необычайным искусством соединять ирландский акцент с говором лондонца.

– За океан, – подхватил тощий человек. – Если бы мне только удалось поехать поучиться за океан, я зарабатывал бы не меньше Кубелика. У меня задатки хорошего скрипача.

– Почему же ты не поедешь? – спросил Эндрюс, стоящий с краю вместе с Фюзелли и Крисом.

– Посмотрите на меня – туберкулез, – сказал тощий человек.

– Просто дожидаться не могу, чтобы они переправили меня туда, – сказал Фланнаган.

– Забавно, должно быть, не понимать, что народ кругом говорит. Мне один парень рассказывал, что они говорят там «вуй» вместо «да».

– Можно знаками объясняться, – сказал Фланнаган, – ну да ирландца всюду поймут. Зато уж с гуннами беседовать не придется. Черт побери! Как только доберусь туда, сейчас же открою ресторанчик. Что вы на это скажете?

Все рассмеялись.

Недурно будет, а? Вот увидите, открою в Берлине ирландский ресторан. И будь я проклят, если сам английский король не приедет ко мне и не заставит проклятущего кайзера поставить всем выпивку.

– К тому времени кайзера вздернут на телеграфном столбе. Тебе нечего беспокоиться, Фланнаган!

– Его нужно бы замучить до смерти, как негров, когда их линчуют на юге.

Где-то далеко на учебном плацу проиграл горнист, и все молча разошлись по своим койкам. Джон Эндрюс завернулся в одеяло, обещая себе спокойно подумать некоторое время перед сном. Для него сделалось необходимостью лежать таким образом по ночам без сна, чтобы не совсем оборвать нить своей личной жизни – жизни, которую он начнет снова, если сможет пережить все это. Он отогнал мысль о смерти. Она не занимала его и была ему безразлична. Но когда-нибудь в нем снова проснется желание играть на рояле, писать музыку. Он не должен позволять себе слишком глубоко проникаться беспомощной психикой солдата. Ему необходимо сохранить свою волю.

Нет, он не об этом хотел думать сегодня. Он так устал уже от самого себя. Ему нужно во что бы то ни стало забыть о себе. С первого года своего учения в колледже, он, казалось, только и делал, что думал о себе, говорил о себе. Здесь, на дне, в глубочайшем унижении рабства, он сможет, по крайней мере, найти забвение и начать заново возводить здание своей жизни, на этот раз из прочного материала: работы, дружбы и презрения. Презрение – вот чего ему не доставало. В каком грубом фантастическом мире очутился он вдруг! Вся его жизнь до этой

недели казалась ему главой, вычитанной из романа, картиной, которую он увидел в витрине магазина – так мало походила она на окружающую его действительность. Полно, да разве могло все это происходить в одном и том же мире? Он, должно быть, умер, сам не зная этого, и родился опять в новом, жалком аду...

Свое детство он провел в разрушенной усадьбе, стоявшей среди старых дубов и каштанов у дороги, по которой лишь изредка проезжали одноколки и запряженные быками телеги, нарушая однообразие песчаных полей, тянувшихся в узорчатой тени. Он так любил мечтать в то время; в длинные виргинские дни, лежа под миртовым кустом на краю запущенного сада, он предавался под сонное жужжание кружившихся на солнце оводов мечтам о мире, в котором он будет жить, когда вырастет. Как много завидных поприщ рисовалось ему! Он будет полководцем, как Цезарь, покорит мир и погибнет от руки убийцы в величественном мраморном зале; или странствующим менестрелем – обойдет с песнями чужие земли, участвуя в бесконечных сложных приключениях; или сделается великим музыкантом: будет сидеть за роялем, как Шопен на гравюре, прекрасные женщины будут рыдать, слушая его, а мужчины с длинными вьющимися волосами закроют руками лица. Одного только рабства он не представлял себе – его раса властвовала для этого слишком много веков. И все же мир покоился на различных видах рабства.

Джон Эндрюс лежал на спине на своей койке, тогда как вокруг него в темном бараке все спали и храпели. Какой-то страх охватил его. В одну неделю величественное здание его романтического мира, с его бесконечным богатством красок и гармонии, пережившее и школу, и колледж, и удары, полученные в борьбе за существование в Нью-Йорке, распалось в прах вокруг него. Он очутился в полной пустоте. «Как глупо, – подумал он, – ведь это тот мир, которым живет большая часть человечества – нижняя половина пирамиды».

Он подумал о своих друзьях, о Фюзелли и Крисфилде, и об этом забавном маленьком человечке, Эйзенштейне. Они чувствовали себя как дома в этой армейской жизни; их, казалось, нисколько не пугала потеря свободы. Но ведь они никогда не жили в другом, сияющем мире. Однако он не мог презирать их за это, как хотел бы. Он представил себе их поющими под управлением христианского юноши:

*Ура, ура, все мы в сборе здесь!
Мы кайзера в плен захватим,
Мы кайзера в плен захватим,
Мы кайзера в плен захватим
Разом!*

Он вспомнил, как подбирал с Крисфилдром окурки и непрерывное «топ-топ-топ» на учебном плацу. В чем была связь между всем этим? Не одно ли тут безумие? Ведь эти спящие вокруг люди собрались сюда из таких различных миров, чтобы слиться в этом дне. Что они думали об этом, все эти спящие? Разве и они не мечтали, как он, когда были мальчиками? Или предшествовавшие поколения подготовили их только к этому? Он вспомнил, как лежал, бывало, под миртовым кустом в знойный, ленивый полдень, следя за тем, как бледные звезды цветов ложатся узором на сухую траву, и снова чувствовал, закутанный в свое теплое одеяло среди всей этой массы спящих, как напрягаются его ноги от жгучего желания понестись, не чувствуя на себе пут, по свежему вольному воздуху. Внезапно тьма заволочла его сознание.

Он проснулся. Снаружи играл горнист.

– Вставай веселее! – кричал сержант.

Еще один день.

IV

Звезды горели очень ярко, когда Фюзелли со слипающимися от сна глазами спотыкаясь вышел из барака. Они трепетали как куски блестящего студня на бархатном фоне неба, точно так же, как что-то внутри его трепетало от возбуждения.

– Знает кто-нибудь, где зажигается электричество? – спросил сержант добродушным голосом.

Свет над дверьми барака вспыхнул, осветив маленького веселого человечка с желтыми усиками и незажженной папиросой, болтавшейся в углу рта. Столпившиеся вокруг него солдаты, в шинелях и шляпах, опустили свои ранцы на колени.

– Ну, стройтесь, ребята!

Когда Фюзелли выстроился вместе с остальными, на него со всех сторон устремились любопытные взоры. Он был переведен в роту только в прошлую ночь.

– Смирно! – закричал сержант, затем прищурил глаза и стал сосредоточенно рассматривать клочок бумаги, который держал в руке, в то время как солдаты его роты сочувственно следили за ним.

– Откликайтесь, когда услышите свое имя. Аллан!

– Здесь! – раздался пронзительный голос с конца шеренги.

– Анспах!

– Здесь!

В то же время перед бараками других рот происходили переключки. Откуда-то с конца улицы доносились радостные крики.

– Ну, теперь я могу объявить вам, ребята, – сказал со своим обычным видом спокойного всеведения сержант, назвав последнее имя. – Нас отправляют за океан!

Все возликовали.

– Заткнитесь! Уж не хотите ли вы, чтобы гунны услышали нас?

Солдаты расхохотались, а на круглом лице сержанта расплылась широкая усмешка.

Вдруг в полосе света появился лейтенант. Это был мальчик с розовым лицом; его новая защитного цвета шинель была слишком широка и не сгибаясь оттопыривалась при ходьбе.

– Все в порядке, сержант? Все готово? – спросил он несколько раз, переминаясь с ноги на ногу.

– Все готово к посадке, сэр, – с чувством сказал сержант.

– Очень хорошо! Я передам вам через минуту приказ о выступлении.

У Фюзелли стучало в ушах от необычайного волнения. Эти слова – «посадка», «приказ выступать» – звучали чем-то необыкновенным, серьезным, деловым. Он вдруг попытался представить себе ощущение, которое испытываешь под обстрелом. В его голове замелькали воспоминания о кинематографических лентах.

– Господи, ну и рад же я выбраться из этой чертовой дыры, – сказал он своему соседу.

– Смотри, как бы следующая не оказалась еще почище, брат, – сказал сержант, прохаживаясь взад и вперед своей внушительной, самоуверенной походкой.

Все засмеялись.

– Что за молодчина этот наш сержант, – сказал ближайший к Фюзелли человек, – ума палата, что и говорить!

– Вольно! – сказал сержант. – Только если кто-нибудь отлучится из этого барака, я засажу его на кухню до тех пор, пока он не научится чистить картошку во сне!

Рота снова расхохоталась. Фюзелли с неудовольствием заметил, что высокий человек с резким голосом, имя которого было вызвано первым при переключке, не смеялся, а презрительно сплевывал углом рта. «Что ж, в семье не без урода!» – подумал Фюзелли.

Серые тени, постепенно светлея, ложились вокруг, предвещая зарю. Ноги Фюзелли устали от долгого стояния. Вдоль улицы, насколько хватал глаз, извилистой линией тянулись перед баракom ряды ожидающих солдат.

Взошло горячее солнце, день был безоблачный. Несколько воробьев чирикали на оцинкованной крыше барака.

- Черт, сегодня уж мы не двинемся!
- Почему? – спросил кто-то порывисто.
- Войска всегда выступают ночью.
- Черт бы их побрал!
- Вот идет сержант.

Все вытянули шеи в указанном направлении; сержант подошел с таинственной улыбкой на лице.

- Складывайте шинели и доставайте котелки!

Котелки забренчали и заблестели в косящих лучах солнца. Солдаты промаршировали в столовую и, вернувшись обратно, снова выстроились с ранцами за спиной и стали ждать.

Все начали понемногу уставать и брюзжали. Фюзелли думал о том, где теперь его старые друзья из другой роты. Славные ребята, Крис и тот ученый малый, Эндрюс. Жаль, что не пришлось отправиться вместе.

Солнце поднималось все выше. Люди один за другим заползали в бараки и ложились на голые койки.

- Кто хочет пари, что мы еще неделю проторчим здесь? – спросил кто-то.

В полдень они снова выстроились, чтобы идти к котлу, и угрюмо, торопливо проглотили обед. Когда Фюзелли выходил из столовой, выбивая двумя грязными ногтями зорю на своем котелке, капрал обратился к нему тихим голосом:

– Вымойте-ка хорошенько свой котелок, братец! У нас, может быть, будет осмотр ранцев. – Капрал был худой, желтолицый человек. Лицо его, несмотря на молодость, было все в морщинах, а рот, изогнутый в дугу, открывался и закрывался, как те рты, которые дети вырезают из бумаги.

– Слушаюсь, капрал! – весело ответил Фюзелли; ему хотелось произвести хорошее впечатление. «Скоро ребята станут и мне говорить «слушаюсь, капрал!», – подумал он. В голове его мелькала мысль, которую он напрасно старался отогнать. У капрала болезненный вид, он недолго протянет за океаном. И Фюзелли представлял себе, как Мэб пишет на конверте: «капралу Дэну Фюзелли».

К концу дня вдруг появился офицер; лицо его горело от волнения, а защитная шинель торчала еще больше, чем обыкновенно.

- Ну, сержант, выстройте своих молодцов, – сказал он задышающим голосом.

Вдоль всей улицы строились роты. Они выступали одна за другой колоннами по четыре человека в ряд с ранцами на плечах. День уже окрашивался янтарем заката. Протрубили зорю. Мозг Фюзелли вдруг деятельно заработал. Звуки трубы и оркестра, игравшего национальный гимн, просеивались в его сознании сквозь грезы о том, что ждет его там. Он видел себя в каком-то месте, где толпились старики и женщины в крестьянских костюмах. Люди в острокопанных касках, похожие на пожарных, непрерывно стреляли, напоминая ку-клукс-клановцев в кинематографе. Они соскакивали с лошадей, поджигали здания и накалывали младенцев на свои длинные штыки со странными чуждыми движениями. Это были гунны. Тут же развевались по ветру знамена и гремели звуки оркестра, игравшего «Янки подходят». Все это потонуло в кинематографической картине, на которой одетые в хаки полки быстро маршировали по экрану. Воспоминание о радостных криках, всегда сопровождавших ее, затмило картину.

– Воображаю, какую трескотню поднимают, однако, эти гунны, – прибавил он в виде заключения.

– Смирно! Вперед, марш!

Длинная улица лагеря наполнилась топотом ног. Солдаты двинулись. Когда они проходили через ворота, Фюзелли заметил Криса, который стоял, обнявшись с Эндрюсом. Оба они махали руками, скалили зубы и выпячивали грудь. Все-таки это были только новички. А он отправлялся за океан.

Тяжесть ранца оттягивала ему плечи и делала ноги тяжелыми, точно они были налиты свинцом. Пот скатывался из-под походной фуражки с его низко остриженной головы, заливал глаза и стекал по обеим сторонам носа. Сквозь топот ног до него смутно доносились с тротуара восторженные крики. Затылки и покачивающиеся ранцы перед ним все уменьшались ряд за рядом вверх по улице. Над ними из окон свешивались флаги, лениво колебавшиеся в сумерках. Но тяжесть ранца заставила его нагнуть голову и вытянуть ее вперед. Подошвы сапог, обернутые обмотками икры и нижний ремень ранца на человеке, шедшем перед ним, – вот все, что он мог видеть. Ранец был так тяжел, что мог, казалось, заставить его провалиться сквозь асфальт мостовой. А вокруг раздавалось лишь легкое звяканье амуниции и топот ног. Фюзелли обливался потом и смутно чувствовал испарения, поднимавшиеся от рядов напрягающихся вокруг него тел. Но постепенно он забыл обо всем, кроме ранца, давившего на плечи и оттягивавшего вниз бедра, колени и ноги, и однообразного ритма собственных ног, отбивавших шаг по мостовой, и других беспрерывно скрипевших ног – впереди него, позади него, около него. Кр... кр... кр...

Поезд был пропитан запахом новой амуниции, на которой высох пот, и дымом дешевых папирос. Фюзелли проснулся точно от толчка. Он спал, положив голову на плечо Билли Грея. Был уже полный день. Поезд медленно трясся по пересекающимся путям в каком-то унылом предместье, среди длинных закопченных товарных складов и бесконечных цепей товарных вагонов, за которыми мелькали коричневые болота и грифельно-серые полосы воды.

– Господи! Никак это Атлантический океан! – воскликнул взволнованно Фюзелли.

– В первый раз видишь, что ли? Это река Перс, – презрительно сказал Билли Грей.

– Откуда же я мог видеть! Я из Калифорнии!

Они высунули вместе головы из окна, так что щеки их соприкасались.

– Черт возьми, да тут есть девочки, – сказал Билли Грей.

Поезд дернул и остановился. Две неряшливые рыжеволосые девицы стояли около полотна, махая руками.

– Поцелуйте нас! – закричал Билли Грей.

– С удовольствием, – ответила одна из девушек. – Для таких молодцов нам ничего не жаль.

Она поднялась на цыпочки, а Грей высунулся из окна и с трудом ухитрился коснуться губами лба девушки.

Фюзелли почувствовал, как волна желания охватила его.

– Подержи-ка меня за пояс, я поцелую ее как следует!

Он высунулся далеко вперед и, обхватив руками розовые ситцевые плечи девушки, поднял ее над землей и стал яростно целовать в губы.

– Пустите, пустите! – кричала девушка.

Люди, высунувшиеся из окон вагонов, гоготали и кричали.

Фюзелли поцеловал ее еще раз и опустил на землю.

– Уж слишком много вы себе позволяете, черт возьми! – сердито сказала девушка.

Солдат в одном из окон заорал:

– Маме скажу!

Все расхохотались.

Поезд тронулся. Фюзелли гордо оглянулся кругом. На минуту перед ним встал образ Мэб, протягивающей ему пятифунтовую коробку леденцов.

– Никакого тут нет греха, так, баловство одно. Пустяк! – произнес он вслух.

– Нам бы только до Франции добраться! Уж там-то мы пофигуруем с мадимерзеями! А что, приятель? – сказал Билли Грей, шлепая Фюзелли по колену.

*Красотка Кэтти,
Ки-ки-ки-Кэтти,
Ты всех других девиц ми-ми-милей!
Когда лу-лу-луна
Взойдет над хлевом,
Я буду ждать тебя у ку-ку-кухонных дверей.*

Когда грохот колес на рельсах участился, все запели хором. Фюзелли с самодовольным видом оглянулся на товарищей, растянувшихся на своих узлах и шинелях в дымном вагоне.

– Важная штука быть солдатом, – сказал он Билли Грею. – Что в голову взбрело, то и валяй, черт возьми!

– Это, – сказал капрал, когда рота гуськом вошла в барак, в точности похожий на тот, который они оставили два дня назад, – это лагерь для посадки на суда. Но я хотел бы, черт побери, знать, на что нас будут сажать? – Он скривил свое лицо в улыбку, а затем с мрачным выражением скомандовал: – За едой!

В этой части лагеря было темно, хоть глаз выколи. Электричество горело жидким красноватым светом. Фюзелли напрягал зрение, ожидая увидеть в конце каждого прохода пристань и мачты пароходов. Солдаты продефилировали в мрачную столовую, где им налили в котелки жидкое варево. За кухонной перегородкой жизнерадостный старший сержант, второй мрачный сержант, похожий на пастора, и капрал с морщинистым лицом ели котлеты. Легкий запах жарящихся котлет распространялся по столовой, и от него жидкая остывшая похлебка казалась окончательно безвкусной.

Фюзелли с завистью поглядывал в сторону кухни, мечтая о том дне, когда он также будет в чинах. «Нужно будет поработать», – серьезно сказал он себе. За океаном, под огнем, ему легко будет найти случай, чтобы показать себя. И он представлял себе, как геройски выносит из огня раненого капитана, а за ним гонятся люди с развевающимися бакенбардами и в заостренных шлемах, напоминающих каски пожарных.

Бренчанье гитары странно прозвучало на темной лагерной улице.

– Здорово зажаривает малый, – сказал Билли Грей, который плелся рядом с Фюзелли, засунув руки в карманы. Они заглянули в дверь одного из бараков. Куча солдат сидела кольцом вокруг двух высоких негров. Их темные лица и груди блестели при слабом освещении, как черный янтарь.

– Ну-ка, Чарли, шпарь другую, – сказал кто-то. Один из негров начал петь, в то время как другой небрежно подыгрывал на гитаре.

– Вали лучше «Титаника»!

Гитара затренькала унылый регтайм. Голос негра вступил вдруг с очень высокой ноты:

*Это песня о том, как «Титаник»
Вышел в море.*

Гитара продолжала тренькать. В голосе негра слышалось что-то, заставившее смолкнуть все разговоры. Солдаты с любопытством смотрели на него.

*Как «Титаник» столкнулся с горой ледяной,
Как «Титаник» столкнулся с горой ледяной*

В открытом море.

Голос негра звучал уверенно и мягко, а гитара вторила ему, наигрывая тот же рыдающий регтайм. С каждым куплетом голос певца делался громче, а треньканье быстрее.

*Опустился «Титаник» в синюю глубь,
Опустился в синюю глубь,
Опустился в море.
И все женщины и дети, плавая в воде,
И все женщины и дети, плавая в воде
Вокруг горы ледяной,
Пели: «Господи, идем к тебе!»
Пели: «Господи, идем к тебе,
Идем к тебе!»*

Гитара играла мелодию гимна. Негр пел. Каждая струна в его гортани дрожала от напряжения. Он почти рыдал.

Человек рядом с Фюзелли тщательно прицелился и сплюнул в кадку с опилками, стоявшую в середине круга неподвижных солдат.

Гитара снова сыграла напев, быстро, почти насмешливо. Негр пел глубоким, искренним голосом. Он не успел кончить, когда вдалеке раздались звуки трубы. Все рассыпались.

Фюзелли и Билли Грей молча вернулись в свои бараки.

– Ужасная штука, должно быть, утонуть в море, – сказал Грей, закутываясь в одеяло. – Стоит только какой-нибудь из этих проклятых подводных лодок...

– Плевать я хотел на них! – сказал решительно Фюзелли.

Но когда он лежал уже на койке, уставившись в темноту, его сковал вдруг холодный ужас. Он подумал одну минуту о том, чтобы дезертировать, притвориться больным, все что угодно, только бы избежать переезда на транспорте.

Он чувствовал, как погружается в ледяную воду.

– Этакая подлость, черт возьми! Пересылать туда людей, чтобы топить их по дороге, – сказал он себе, и ему вспомнились холмистые улицы Сан-Франциско, зарево заката над гаванью и пароходы, входящие через Золотые Ворота. Сознание его постепенно затуманилось, и он заснул.

Колонна растянулась по дороге, покрывая ее, насколько хватал глаз, точно ковром защитного цвета. В роте Фюзелли люди переминались с ноги на ногу и ворчали: «Какого черта они еще ждут там!» Билли Грей, ближайший сосед Фюзелли по ряду, стоял согнувшись вдвое, чтобы облегчить плечи от тяжести своего ранца. Они стояли на перекрестке, на открытом возвышенном месте, откуда можно было видеть длинные навесы и бараки лагеря, тянувшиеся во всех направлениях, ряд за рядом, изредка прерываемые серыми учебными плацами. Перед ними до последнего поворота дороги тянулась колонна; она терялась на холме, среди горчично-желтых домов пригорода. Фюзелли был взволнован – он не переставал думать о прошедшей ночи. Когда помогал сержанту раздавать добавочные пайки и переносил ящики с сухарями, он тщательно вел им счет и ни разу не ошибся. Фюзелли был полон желания действовать, показать, на что он способен. «Черт побери, – сказал он себе, – славная штука эта война для меня. Я мог бы проторчать пять лет в лавке и ни черта не выдвинуться. А здесь, в армии, у меня есть возможность добиться чего угодно!»

Далеко впереди по дороге зашевелилась колонна. Голоса, выкрикивавшие приказания, резко звенели в утреннем воздухе. Сердце Фюзелли колотилось. Он гордился собой и ротой – лучшая рота во всей армии, черт побери! Рота впереди них двинулась; теперь был их черед.

– Вперед! Марш!

Они погрузились в однообразный топот ног. Пыль высоко поднималась над дорогой, по которой, точно темно-коричневый червяк, ползла колонна.

Тошнотворный, незнакомый запах ударил им в нос.

– Чего ради они загоняют нас сюда, вниз?

– Будь я проклят, если знаю!

Они спускались шеренгой по лестницам в паровой трюм, казавшийся им страшной пропастью. У каждого в руке была синяя карточка с номером. В темном помещении, похожем на пустой товарный склад, они остановились.

– Должно быть, это и есть наша нора! – крикнул сержант. – Надо будет постараться устроиться тут получше. – Затем он исчез.

Фюзелли огляделся вокруг. Он сидел на самой низкой из скамеек, грубо сколоченных в три яруса из новых сосновых досок. Электричество, горевшее кое-где, освещало трюм слабым красноватым блеском. Только на лестницах были сильные лампы, дававшие яркий белый свет. Бесконечные шеренги солдат, вливавшиеся по лестницам, наполняли помещение топотом ног и стуком ранцев, сбрасываемых с нар. Где-то в проходе офицер пронзительным голосом кричал своим людям: «Пошевеливайтесь там, пошевеливайтесь!» Фюзелли, ошеломленный и подавленный, сидел на своей койке, следя за ужасающей суматохой, царившей вокруг. Сколько дней придется им пробыть в этой темной яме? Он вдруг почувствовал озлобление. Какое право они имеют так обращаться с людьми? Ведь он человек, а не ворох сена, которым можно распоряжаться как угодно.

– А ежели нас проткнет подводная лодка, нечего сказать, приятно будет здесь, внизу, – сказал он вслух.

– Тут везде наставлены часовые, чтобы мы не могли выбраться наверх, на палубу, – заметил кто-то.

– Будь они прокляты! Обращаются с людьми, точно это скотина, которую отправляют на убой!

– А ты что думал? Так и есть – говядина для гуннов!

Это сказал маленький человечек, лежащий на одной из верхних коек; при этом он скорчил свое желтое лицо в забавную гримасу, как будто слова вырывались из него против воли.

Все злобно посмотрели на него.

– Проклятый жид Эйзенштейн! – пробормотал кто-то.

– Отчего его не привязали снаружи! – добродушно крикнул Билли Грей.

– Дурачье, – проворчал Эйзенштейн, переворачиваясь на другой бок и закрывая лицо руками.

– Черт, хотел бы я знать, отчего это здесь так странно пахнет внизу? – сказал Фюзелли.

Фюзелли лежал, вытянувшись на спине на палубе, положив голову на скрещенные руки. Когда он смотрел прямо вверх, он видел над собой свинцового цвета мачту, колебавшуюся из стороны в сторону на фоне неба, затянутого светло-серыми, серебристыми и темными, серо-багровыми облаками с желтоватыми отблесками по краям; а когда он наклонял голову немного в сторону, он встречал тяжелое бесцветное лицо Билли Грея, темную щетину его небритого подбородка и слегка скошенный влево рот, из которого свисала потухшая папироса. Дальше были головы и туловища, перемешанные в одну сплошную массу с защитными шинелями и спасательными кругами. Когда же волна накрывала палубу, перед ними вставали движущиеся зеленые волны, какой-нибудь пароход, выкрашенный серыми и белыми полосами, и горизонт – темная, твердо изогнутая линия, прерываемая тут и там гребнями волн.

– О Господи, до чего мне тошно! – сказал Билли Грей, вынимая изо рта папиросу и злобно рассматривая ее.

– Все бы ничего, если бы не эта вонища! А уж столовая... Так наизнанку и выворачивает, только подумаешь о ней! – Фюзелли говорил ноющим голосом.

Верхушка мачты двигалась взад и вперед по пятнистым облакам, словно карандаш по бумаге.

– Что, брат, опять брюхо подвело? – произнес смуглый человек с круглым, как луна, лицом по другую сторону Фюзелли. У него были густые черные брови и изрезанный множеством поперечных морщин лоб, вокруг которого круто вились волосы.

– Убирайся к черту!

– Нездоровится, сынок? – раздался снова низкий голос, и темные брови сочувственно нахмурились. – Чудно! Если бы ты дома этак послал меня к черту, сынок, я бы давно уже вытащил свой шестизарядник.

– Будешь тут здоров, когда приходится дежурить на кухне! – сказал раздраженно Фюзелли.

– Я уже три дня не хожу обедать. Собственно говоря, человек, который жил в степи, вроде меня, должен был бы чувствовать себя на море как утка, а вот мне оно что-то не по нутру.

– Господи, до чего несчастный вид у ребят, которым мне приходится раздавать похлебку, – сказал Фюзелли веселее. – Просто не понимаю, как их так развезло! Вот у нас в роте дело другое. У наших молодцов такой вид, будто они боятся, что кто-то их сейчас поколотит!.. Приметил ты это, Мэджилл?

– Чего же ждать от ребят, которые всю жизнь жили в городе? Небось дула от приклада не отличат, а уж насчет верховой езды... Самое большее, если на ручке от метлы катались! Вы на то только и годитесь, чтобы овцами в стаде ходить. Не диво, что они тут пасут вас, как телят.

Мэджилл встал на ноги и нетвердой походкой направился к перилам, прокладывая себе дорогу по покрытой людьми нижней палубе транспорта и все еще сохраняя в своей ковбойской, кривоногой походке что-то молодеческое.

– Я знаю, почему люди начинают хлопать от страха глазами, когда спускаются вниз за этой гнилой жратвой, – раздался гнусавый голос.

Фюзелли обернулся – Эйзенштейн сидел на месте, с которого только что встал Мэджилл.

– Правда? Знаешь?

– Это входит в их систему. Прежде чем заставить людей действовать как скотов, нужно превратить их в скотину. Читал ты когда-нибудь Толстого?

– Нет! Послушай-ка, тебе не мешало бы быть поосторожнее, когда ты начинаешь этак разговаривать! – Фюзелли таинственно понизил голос. – Я слышал, что одного вот такого расстреляли в Кэмп-Мэристе за такую болтовню.

– Э, наплевать! Я отчаянный человек, – сказал Эйзенштейн.

– Тебя не тошнит? Черт, а меня... Ты никак облегчился немного, Мэджилл?

– И что бы им, черт возьми, устроить свою паршивую войну в таком месте, куда человек мог бы добраться на лошади! Послушай-ка, это мое место!

– Место было свободно, и я его занял, – ответил Эйзенштейн, мрачно опуская голову.

– Если ты в два счета не уберешься... – сказал Мэджилл, расправляя свои широкие плечи.

– Ты сильнее меня, – сказал Эйзенштейн, отходя в сторону.

– Господи, что это за наказание не иметь ружья, – пробормотал Мэджилл, снова устроившись на палубе. – Знаешь, сынок, я чуть было не завыл, когда узнал, что меня запихнули в этот проклятый санитарный отряд. Я завербовался ради танков. Первый раз в жизни я без оружия. Я так думаю, что у меня и в колыбели уже было ружье.

– Чудак, – сказал Фюзелли.

Вдруг в середине группы появился сержант. Лицо его было красно.

– Послушайте, ребята, – сказал он шепотом, – валите что есть духу вниз и приведите в порядок нары. Только живо, черт побери! Сейчас инспекция! Чтоб им провалиться!

Все бросились вниз по дощатым сходням в отвратительно пахнущий трюм, освещенный, как всегда, одним только красноватым светом электрических ламп. Они едва успели добраться до своих нар, когда кто-то скомандовал: «Смирно!»

Три офицера прошагали мимо своей обычной, твердой, полной значительности походкой, которую несколько нарушала качка парохода. Они вытягивали головы и осматривали с обеих сторон нары жестокими, хищными и ищущими взглядами курицы, высматривающей червяков.

– Фюзелли, – сказал старший сержант, – принесите мне ротную книгу в мою каюту – номер двести тринадцать, на нижней палубе.

– Слушаю, сержант! – с живостью ответил Фюзелли.

Он восторгался старшим сержантом и старался подражать его веселому повелительному тону. Ему в первый раз пришлось побывать в верхней части парохода. Это был совсем другой мир. Длинные коридоры, покрытые красными коврами; белый лак и золоченая лепка на перегородках; офицеры, свободно разгуливающие взад и вперед, – все это напоминало ему те большие пароходы, за которыми он так любил следить, когда они проходили через Золотые Ворота, – пароходы, на которых он мечтал съездить в Европу, когда разбогатеет. О, если бы ему только дослужиться до сержанта первого разряда! Весь этот комфорт и великолепие были бы к его услугам. Он нашел номер и постучал в дверь. Из каюты доносились громкие голоса и смех.

– Подождите минуту, – раздался незнакомый голос.

– Здесь сержант Ольстер?

– А, это из моей команды, – раздался голос сержанта. – Впустите его! Он не сфискалит!

Дверь отворилась, и он увидел сержанта Ольстера и двух других молодых людей, которые сидели, свесив ноги вдоль красных лакированных бортов коек. Они весело болтали со стаканами в руках.

– Да уж и город этот Париж, доложу я вам, – говорил один. – Говорят, барышни там просто вешаются военным на шею... ей-ей... среди улицы!

– Вот книга, сержант, – отчеканил Фюзелли со своей лучшей военной выправкой.

– О, спасибо, больше ничего, – сказал сержант, и голос его показался Фюзелли еще веселее обыкновенного. – Смотрите, не свалитесь через борт, как вчера один молодчик.

Фюзелли засмеялся, закрывая за собой дверь, но внезапно сделался серьезным, вспомнив, что у одного из молодых людей в каюте были золотые нашивки младшего лейтенанта. «Черт! – сказал он себе. – Нужно было отдать честь». Он постоял минуту за закрытой дверью, прислушиваясь к разговорам и смеху. Чего бы он не отдал в эту минуту, чтобы принадлежать к этой веселой компании, разговаривающей о парижских женщинах. Он начал размышлять. Как только они переправятся через океан, его, несомненно, произведут в рядовые первого разряда. Затем, через несколько месяцев, он может сделаться капралом. Если они увидят его усердие, он будет быстро двигаться вперед после первого чина.

– Только бы как-нибудь не сплеховать, только бы не сплеховать, – твердил он себе, спускаясь по лестнице в трюм. Но все это потонуло в приступе морской болезни, вернувшейся снова, как только он вдохнул зловонный воздух.

Палуба перед ним то ныряла вниз, то поднималась вверх, так что ему приходилось идти в гору. При каждом движении парохода грязная вода перекачивалась с одной стороны судна на другую. Свистящий вой ветра, прорывавшийся сквозь щели и замок, заставил Фюзелли долго в нерешительности простоять у дверей, держась за ручку. В тот момент, когда он повернул ее, дверь распахнулась, и бурный порыв ветра чуть не свалил его с ног. Палуба была пуста. Натянутые вдоль нее мокрые канаты уныло вздрагивали под ветром. Каждую минуту с наветренной стороны налетал столб пены, вырастая точно белое развесистое дерево, хлеща его по лицу, словно град. Не закрывая дверей, он пополз по палубе, изо всех сил цепляясь за обледеневшие канаты. За пеной он видел огромные, зеленые, мраморные волны, беспрерывно вздымавшиеся

одна за другой из тумана. Рев ветра в ушах оглушал и пугал его. Ему казалось, что прошла целая вечность, пока он добрался до дверей лазарета.

Дверь открылась в коридор. Там было душно и пахло лекарствами. Люди стояли в тесной очереди, чтобы попасть в приемный покой, натыкаясь друг на друга при качке. Рев ветра едва доносился туда; только изредка слышался глухой удар волны об нос.

– Болен? – обратился к Фюзелли один солдат.

– Нет, здоров. Меня сержант послал раздобыть чего-нибудь для наших ребят – их так развезло, что с места не двинуться.

– Ужасно много больных на этом пароходе.

– Сегодня утром двое ребят кончились в этой вот комнате, – сказал другой солдат, торжественно указывая большим пальцем через плечо. – Еще не хоронили, слишком бурно.

– А от чего это они умерли? – с жаром спросил Фюзелли.

– Спинной... как его...

– Менингит, – вмешался человек с другого конца очереди.

– Говорят, страшно прилипчивая штука, правда?

– Да, уж должно быть!

– А куда она ударяет? – спросил Фюзелли.

– Сначала затылок распухнет, а потом весь точно одеревенеешь, – раздался голос из конца очереди.

Наступило молчание. Из лазарета вышел человек с пакетом в руках и начал прокладывать себе дорогу к двери.

– Много там народу? – спросил, понизив голос, Фюзелли, когда человек задел его, проходя мимо.

– Хватит... – остальные слова его были унесены пронзительным воем ветра, ворвавшимся в открытую Дверь.

Когда дверь снова закрылась, стоявшего рядом с Фюзелли человека, широкоплечего, с тяжелыми черными бровями, прорвало, словно он давно уже удерживался, чтобы не заговорить:

Никак нельзя, чтобы эта болезнь меня одолела... никак нельзя! У меня есть девушка, которая дожидается меня дома. Вот уже два года, как я ни к одной женщине пальцем не прикасался, все ради нее. Это уже даже против природы, чтобы парень так долго держался.

– Чего же ты не женился на ней перед отъездом? – спросил кто-то насмешливо.

– Да не захотела солдаткой сделаться. Я, говорит, уж лучше так подожду.

Несколько человек рассмеялись.

– Никак нельзя, чтобы я заболел и помер от этой болезни, после того как я сберег себя в чистоте для своей девушки... это будет несправедливо, – бормотал человек, обращаясь к Фюзелли.

Фюзелли представил себе, как он лежит на койке с распухшей шеей, а ноги и руки его все немеют и немеют.

Краснолицый человек на середине коридора заговорил:

– Стоит мне только подумать о том, как я нужен дома своим, сразу страх как рукой снимет. Сам не знаю почему. Просто не могу я сейчас платить по счету. Вот и все! – Он весело засмеялся.

Никто не присоединился к его смеху.

– А очень это заразно? – спросил Фюзелли своего соседа.

– Самая прилипчивая штука, какая только может быть, – мрачно ответил тот.

– Хуже всего то, – заговорил пронзительным истеричным голосом другой солдат, – что тебя выбросят на съедение акулам. Черти! Они не имеют права поступать так даже в военное время! Они не имеют права обращаться с христианином, будто это околевавшая собака!

– Держи карман! Они имеют право делать все, что им, черт побери, заблагорассудится. Хотел бы я видеть, кто им помешает! – воскликнул краснолицый солдат.

– Если бы он был офицером, его бы не выбросили так! – раздался снова пронзительный истерический голос.

– Брось ты это, – сказал кто-то другой. – Охота из-за болтовни неприятности наживать.

– А как вы думаете, не опасно дожидаться здесь, около того места, где лежат эти больные? – прошептал Фюзелли соседу.

– Да уж само собой, что опасно, – уныло ответил тот. Фюзелли вздрогнул и стал пробираться к дверям.

– Пропустите-ка, ребята, меня сейчас рвать будет, – сказал он, думая про себя: «Черта с два! Скажу им, что было закрыто. Они и не подумают проверять».

Открывая дверь, Фюзелли представлял себе, как он подползает к своей койке: шея его пухнет, ладони горят от лихорадки, а руки и ноги коченеют, покуда все не изглаживается во мраке смерти. Рев ветра на палубе и плещущая пена отогнали все другие мысли.

Фюзелли вместе с другими солдатами потащил переливающийся через край бак с отбросами по лестнице, ведущей из столовой наверх. От бака несло прогорклым жиром и кофейной гущей; жирная жижа стекала по их пальцам, когда они, напрягаясь, поднимали его вверх. Они, шатаясь, добрались до перил и опорожнили бак в темноту. Плеск падающей массы затерялся в шуме волн и пенящейся воды, бежавшей вдоль бортов парохода, Фюзелли нагнулся над перилами и стал смотреть вниз на слабое фосфоресцирование. Это был единственный источник света в черной бездне. Он никогда прежде не видал такой тьмы. Он крепко уцепился обеими руками за перила, чувствуя себя затерянным, подавленным темнотой, воем ветра и шумом пенящейся воды, бежавшей за кормой. Он мог сменить это только на зловоние нижней палубы.

– Я сам снесу вниз бак, не беспокойся, – сказал Фюзелли товарищу, ткнув ногой бак, который издал звенящий звук.

Он напрягал зрение, чтобы разглядеть что-нибудь. Темнота, казалось, давила на его глазные яблоки, ослепляя его. Вдруг он услышал вблизи голоса.

– Мне никогда раньше не приходилось видеть море. Я не думал, что оно такое.

– Мы теперь в опасной зоне.

– Это значит, что мы можем потонуть каждую минуту?

– Правильно.

– Господи Иисусе, вот так тьма! Ужасно будет утонуть в такой темноте.

– Это живо делается.

– Скажи-ка, Фред, бывало ли тебе когда-нибудь так страшно, что...

– А тебе страшно?

– Тронь мою руку, Фред... Нет, вот она! Что за дьявольская темнота – собственной руки не найти!

– Холодная. Почему ты так дрожишь? Хорошо бы теперь рюмочку опрокинуть.

– Я никогда прежде не видал моря, я не знал...

Фюзелли отчетливо слышал в темноте, как стучат зубы солдата.

– Подтянись, дружище, нельзя же так трусить.

– О Господи!

Наступила длинная пауза. Фюзелли не слышал ничего, кроме плеска пенящейся воды, бежавшей вдоль бортов парохода, и рева ветра в ушах.

– Я никогда до сих пор не видал моря, Фред, а тут еще все эти болезни. Мне просто все нутро перевернуло. Вчера только троих за борт выбросили.

– Плюнь, брат, не думай об этом.

– Скажи, Фред, если я... если я... если ты спасешься, Фред, а я нет, ты напишешь моим близким?

- Конечно, напишу. Только я уверен, что тогда уж мы оба потонем вместе.
- Не говори так. И не забудь написать той девушке... помнишь, я еще тебе ее адрес давал.
- Ты сделаешь то же самое для меня.
- О нет, Фред, я никогда не увижу земли... э, да что... А я чувствую себя таким молодым, таким крепким. Я не хочу умирать... я не могу так умереть!
- Если бы только не было так чертовски темно!

Часть вторая

Сплав остывает

I

За окном были пурпурные сумерки. Дождь лил беспрерывно, оставляя длинные блестящие полосы на потрескавшихся стеклах и выбивая сухую монотонную дробь по оцинкованной крыше над головой. Фюзелли сбросил свой мокрый дождевик и остановился перед окном, угрюмо глядя на дождь. Позади него топилась дымящая печь, в которую один из солдат подсовывал дрова, а дальше сидели, развалившись на сломанных складных стульях, солдаты, в позах, выражавших крайнюю скуку. За прилавком в глубине комнаты христианский юноша с неподвижной улыбкой наливал подходившим по очереди солдатам шоколад.

– Черт, изволь тут из-за всякой ерунды становиться в очередь! – проворчал Фюзелли.

– Да больше, пожалуй, и делать-то нечего в этой чертовой дыре, – сказал человек рядом с ним. Он указал большим пальцем на окно и заговорил снова: – Видишь ты этот дождь? Так вот я уже три недели в лагере, а он еще не переставал. Хорошенькое местечко, нечего сказать!

– Уж конечно, не то, что дома, – сказал Фюзелли. – Пойду получать шоколад.

– Дрянь отчаянная!

– Нужно попробовать разок. – Фюзелли стал в конце хвоста и стал ждать своей очереди.

Он думал о крутых улицах Сан-Франциско, о гавани, залитой желтыми огнями цвета янтаря, когда он возвращался в голубых сумерках домой с работы. Он вспомнил Мэб, протягивающую ему пятифунтовую коробку леденцов, как вдруг внимание его привлек разговор солдат в очереди позади него. Человек, стоявший ближе к Фюзелли, говорил с суетливыми нервными интонациями. Фюзелли чувствовал на своем затылке его дыхание.

– Черт возьми, – говорил человек, – ты тоже там был? Куда же тебе угодило?

– В ногу; теперь уже почитай что прошло.

– А у меня нет. Я никогда не поправлюсь. Доктор говорит, что я уже здоров, но я знаю, что это брехня. Лгун паршивый!

– Уж и времечко было!

– Пусть меня разразят на месте, если я еще раз проделаю это. Я спать не могу по ночам. Все мне мерещатся эти шлемы, которые на фрицах надеты. Тебе не приходило в голову, что в них что-то есть такое, в этих проклятых шлемах, в их форме?

– Разве они не обычного образца? – спросил Фюзелли полуоборачиваясь. – Я видел их в кинематографе. – Он засмеялся, как бы извиняясь.

– Послушай-ка новенького, Тоб! Он их видел в кинематографе! – сказал человек с нервной дрожью в голосе и засмеялся мелким, хриплым смешком. – Сколько времени ты здесь?

– Всего два дня.

– Ну а мы здесь как раз два месяца, так, что ли, Тоб? Христианский юноша обратил свою однообразную улыбку к Фюзелли и наполнил его жестяную кружку шоколадом.

– Сколько?

– Франк. Похожи на наши четвертаки, правда? – сказал христианский юноша. Его сытый голос был полон дружелюбной снисходительности.

– Чертовски дорого за кружку шоколада, – сказал Фюзелли.

– Вы на войне, молодой человек, не забывайте этого, – строго заметил христианский юноша. – Ваше счастье, что вы вообще можете получить здесь шоколад.

Холодная дрожь пробежала по спине Фюзелли, когда он вернулся к печке, чтобы выпить шоколад. Конечно, ему не следует брюзжать. Ведь он теперь на войне. Если бы сержант услышал, как он ворчит, это могло бы погубить его шансы на капральство. Он должен быть осторожен. Надо ходить на цыпочках, если хочешь получить повышение.

– А почему это нет больше шоколада, хотел бы я знать! – Нервный голос человека, стоявшего в очереди за Фюзелли, внезапно возвысился до крика.

Все оглянулись. Христианский юноша с взволнованным видом мотал головой из стороны в сторону, повторяя крикливым тоненьким голоском:

– Я сказал вам, что шоколада больше нет! Уходите!

– Какое вы имеете право гнать меня? Вы обязаны дать мне шоколад. Вы и на фронте-то никогда не были, мозгляк несчастный! – Человек кричал изо всех сил.

Он уцепился обеими руками за стойку и раскачивался из стороны в сторону. Его приятель старался увести его.

– Послушайте, бросьте эти штуки! Я подам на вас рапорт, – сказал христианский юноша. – Есть тут какой-нибудь офицер в бараке?

– Валяй, доноси! Мне не могут сделать ничего хуже того, что уже сделали! – Голос человека превратился в сплошной вопль ярости.

– Есть тут, в комнате, офицер?

Христианский юноша беспокойно искал по сторонам взглядом. Его маленькие глазки глядели жестоко и мстительно, а губы были сжаты в тонкую прямую линию.

– Успокойтесь, я уведу его, – сказал другой солдат тихим голосом. – Разве вы не видите, что он...

Непонятный ужас охватил Фюзелли. Он совсем не так представлял себе все это, когда смотрел, бывало, в кинематографе, в учебном лагере, как веселые солдаты в хаки входили маршем в города, преследовали убегающих в панике гуннов по засеянным картофелем полям и спасали бельгийских молочниц среди живописной природы.

– Много их возвращается в таком виде? – спросил он стоявшего рядом солдата.

– Порядочно! Это лагерь для выздоравливающих.

Больной солдат и его товарищ стояли рядом около печи, тихо разговаривая между собой.

– Возьми себя в руки, дружище, – говорил приятель.

– Ладно, Тоб, теперь уже все прошло. Этот мозгляк вывел меня из себя – вот и все.

Фюзелли смотрел на него с любопытством. У него было желтое пергаментное лицо и высокий худой лоб, уходивший вверх до редких выющихся каштановых волос. Когда глаза их встретились, Фюзелли заметил, что у солдата они были точно стеклянные.

Тот дружелюбно улыбнулся ему.

– А, это тот парнишка, который видел шлемы фрицев в киношке! Пойдем, братец, выпьем пива в английском кабачке!

– Ты можешь достать пива?

– Еще бы, сколько угодно, там, в английском лагере!

Они пошли под косым дождем. Было почти темно. Небо, окрашенное в багрово-красный свет, бросало отблески на косые полы палаток и на ряды барачных крыш, терявшихся по всем направлениям в сетке дождя. Несколько огней горели яркой сверкающей желтизной. Они пошли по дощатым мосткам, сгибавшимся под их тяжелыми сапогами, разбрызгивая грязь.

В одном месте они наткнулись на мокрую полу палатки и отдали честь, когда мимо прошел офицер, весело помахивая тросточкой.

– А сколько времени обыкновенно держат ребят в этих лагерях для выздоравливающих? – спросил Фюзелли.

– Зависит от того, что делается там, – сказал Тоб, неопределенно указывая поверх палаток. – Ты кто такой?

– Санитарная команда.

– Так ты санитар! Ну, эти ребята недолго продержались в Шато, правда, Тоб?

– Да, недолго!

Что-то внутри Фюзелли протестовало: «А я продержусь, продержусь несмотря ни на что!»

– Помнишь, как эти молодцы отправились за бедным старичком капралом Джонсоном, Тоб? Будь я проклят, если кто-нибудь когда-нибудь нашел хоть пуговицу от их штанов! – Он засмеялся своим скрипучим смешком. – Они набрели на фугасы.

«Мокрый» кабачок был полон дыма и приятного запаха пива. Он был набит краснолицыми людьми с блестящими медными пуговицами на формах цвета хаки; среди них было немало худощавых американцев.

«Все «томми», – сказал себе Фюзелли.

Постояв немного в очереди, Фюзелли получил из-за стойки кружку пенящегося пива.

– Хелло, Фюзелли! – Мэдвилл хлопнул его по плечу. – Ты, черт возьми, быстро пронюхал, где тут мокро!

Фюзелли расхохотался.

– Можно мне присоединиться к вам, ребята?

– Конечно, присаживайся, – гордо ответил Фюзелли, – эти молодцы были на фронте!

– Правда? – спросил Мэдвилл. – Говорят, гунны мастера драться! Скажите-ка, много там приходится действовать винтовкой или все больше пушки работают?

– Да уж! Целые месяцы меня морочили, обучали обращаться с винтовкой, а будь я проклят, если хоть раз пустил ее в ход. Я в отряде бомбометчиков.

Кто-то в глубине комнаты затянул песню:

*Ах, мадермезель из Армантира,
Парле ву?*

Человек с нервным голосом продолжал говорить в то время, как вокруг них гудела песня.

– Ни одной ночи не проходит, чтобы мне не лезли в голову эти забавные чудные шлемы, которые носят фрицы. А вам никогда не казалось, что в них есть что-то чертовски забавное?

– Брось ты эти шлемы, – сказал его приятель. – Ты нам уже все про них рассказал.

– А разве я говорил вам, почему я не могу забыть их? Ведь нет?

*Немчура офицер через Рейн шагнул,
Парле ву?
Немчура офицер через Рейн шагнул,
Любил он вино, и девиц, и разгул,
Парле ву?*

– Вот послушайте, ребята, – сказал человек своим прерывающимся нервным голосом, пристально глядя прямо в глаза Фюзелли. – Однажды мы сделали маленькую атаку, чтобы чуточку выпрямить нашу линию траншей... как раз перед тем, как меня ранили. Наши орудия обстреляли кусок фрицевых траншей, и мы побежали вперед (дело было как раз перед рассветом) и заняли их. Будь я проклят, если это не было сделано так же спокойно, как в воскресное утро дома.

– Верно, – подтвердил его приятель.

– При мне была куча ручных гранат. Вдруг подбегает ко мне один парень и шепчет: «Там, в окопах, сидят несколько фрицев, дуются в карты. Они, как видно, не знают, что окружены.

Захватим-ка их в плен!» – «К черту пленных, – говорю я, – мы от них мокрого места не оставим!» Вот мы поползли вперед и заглянули в окоп...

*Ах, мадермезель из Армантира,
Парле ву?*

Их каски дьявольски напоминали грибы-поганки; я чуть было не расхохотался. Они сидели вокруг лампы; один сдавал – важно этак, медленно. Ну точь-в-точь как немцы всегда сдают – я видал дома, в биргалке...

*Нашим янки чертовски круто пришлось,
Парле ву?*

Я долго лежал этак, глядя на них, потом вытащил гранату, тихонечко спустил ее вниз по ступенькам, и все эти забавные каски, похожие на поганки, вдруг подскочили в воздух; кто-то взвыл, свет погас, и проклятая граната взорвалась. Я оставил их собирать свои потроха, а сам ушел, потому что один из них все еще как будто стонал. Вот в это-то время они открыли артиллерийскую пальбу, и меня ранило.

*Янки любит быть в трактире,
Парле ву?*

И первое, о чем я подумал, когда проснулся, были эти проклятые шлемы. Просто свихнуться можно, парень, если думать о таких вещах. – Его голос перешел в всхлипывание и напоминал прерывающийся голос ребенка, которого побили.

– Тебе нужно взять себя в руки, дружище, – сказал его товарищ.

– Я и сам знаю, что нужно, Тоб! Женщина – вот что мне нужно!

– А ты знаешь, где достать ее? – спросил Мэджилл. – Я бы и сам не прочь раздобыть себе славную французскую дамочку в этакую дождливую ночь.

– В город-то теперь, должно быть, чертовски тяжелая дорога, да к тому же там, говорят, так и кишит военной полицией, – сказал Фюзелли.

– Я знаю одну дорогу, – сказал человек с нервным голосом. – Пойдем, Тоб!

– Нет, с меня довольно этих лягушатниц проклятых! Они вышли все вместе из кабачка.

Когда оба товарища отделились и направились вниз по улице, Фюзелли услышал сквозь металлическую дробь дождя нервный прерывающийся голос:

– Не знаю, что и придумать, чтобы забыть, как забавно выглядели каски этих молодцов вокруг лампы... Просто придумать не могу!

Билли Грей и Фюзелли соединили свои одеяла и улеглись рядом. Они лежали на твердом полу палатки, тесно прижавшись друг к другу, и прислушивались к дождю, непрерывно барабанившему по промокшей парусине, натянутой вкось над их головами.

– Черт побери, Билли, у меня, кажется, начинается воспаление легких, – сказал Фюзелли, прочищая нос.

– Я единственно только и боюсь во всей этой проклятой истории, как бы не подохнуть от болезни. А говорят, еще одного парня скрутило от этого, как его... менингита.

– Это то, что у Штейна было?

– Капрал не желает говорить.

– Старина капрал сам не очень-то здоров с виду, – сказал Фюзелли.

– Все этот климат гнилой, – прошептал Билли Грей среди приступа кашля.

– Тысяча чертей, кончите вы когда-нибудь с вашим кашлем?! Уснуть человеку не дадут, – раздался голос с другого конца палатки.

– Пойди возьми себе комнату в гостинице, если он тебе мешает!

– Верно, Билли, так его!

– Если не перестанете галдеть, ребята, я всех завтра на кухню засажу, – раздался добродушный голос сержанта. – Не знаете вы разве, что уже протрубили зорю?

В палатке воцарилась тишина, нарушаемая только дробью дождя и кашлем Билли Грея.

– У меня от этого сержанта живот подводит, – плаксиво сказал Билли Грей, сворачиваясь под одеялом, когда его кашель успокоился.

Немного погодя Фюзелли тихо прошептал – так, чтобы никто, кроме приятеля, не мог услышать:

– Послушай-ка, Билли, ведь правда, что все это ни капли не похоже на то, что мы ожидали?

– Верно!

Я хочу сказать, что ребята и не помышляют о том, чтобы задать перцу гуннам. Только и знают, что ворчат на все.

– Это, брат, тем, которые повыше, полагается думать, – заявил Грей.

– Черт, а я-то думал, что от этой войны дух будет захватывать, как на картинах.

– По-моему, все это одна болтовня была.

– Может быть!

Засыпая на жестком полу, Фюзелли чувствовал у своего бока приятную теплоту тела Билли и слышал над головой бесконечную, однообразную дробь дождя по промокшей парусине. Он старался не заснуть сразу, чтобы вспомнить, как выглядела Мэб, но сон неожиданно одолел его.

Труба выжила Фюзелли из-под одеяла до того, как начало светать. Дождя не было. Воздух был резок. Густой белый туман казался холодным, как снег, при прикосновении к их лицам, еще теплым от сна. Капрал сделал переключку, зажигая спички, чтобы прочесть список. Когда он распустил часть, из палатки раздался голос сержанта, все еще продолжавшего лежать завернувшись в одеяло:

– Эй, капрал! Скажите-ка Фюзелли, чтобы он отправился ровно в восемь часов убрать помещение лейтенанта Стенфорда, офицерский барак, номер четыре.

– Слышали, Фюзелли?

– Ладно, – сказал Фюзелли.

Вся кровь в нем внезапно закипела. Ему в первый раз приходилось исполнять работу прислуги. Не для того он поступил в армию, чтобы быть рабом какого-то проклятого лейтенантишки. А потом это против военного устава. Он пойдет сейчас к сержанту и поставит его на место. Он не намерен превращаться в лакея! Фюзелли направился к дверям палатки, обдумывая по дороге, что сказать сержанту. Но тут он заметил, что капрал кашляет в платок с выражением страдания на лице. Он повернулся и побрел в другую сторону. Если он начнет лягаться таким образом, все его дело полетит к черту. Уж лучше заткнуть глотку и перенести все. Бедняга капрал долго не протянет в таком состоянии. Нет, глупо будет испортить дело.

В восемь Фюзелли с метлой в руке, чувствуя, как внутри его волнуется и кипит глухая ярость, постучался в некрашеную дощатую дверь.

– Кто там?

– Убирать комнату, сэр, – сказал Фюзелли.

– Приходите минут через двадцать, – раздался голос лейтенанта.

– Слушаю, сэр!

Фюзелли прислонился к задней стене барака и закурил папиросу. Воздух щипал его руки, как будто их скребли теркой для орехов. Двадцать минут тянулись медленно. Отчаяние

охватило его. Как одинок он был здесь, вдали от всех своих близких, затерянный в огромной машине. Он говорил себе, что никогда ничего не добьется, никогда не попадет туда, где сможет показать, на что он годен. Он чувствовал себя точно на каторге. День за днем будет одно и то же. Та же рутина, та же беспомощность. Он посмотрел на часы. Прошло двадцать пять минут. Фюзелли поднял свою метлу и направился кругом в комнату лейтенанта.

– Войдите, – небрежно сказал лейтенант.

Он был в рубашке и брился. Приятный запах мыла наполнял темную дощатую комнату, всю обстановку которой составляли три койки и несколько офицерских сундуков. Это был краснолицый молодой человек с дряблыми щеками и прямыми темными бровями. Он принял командование над ротой всего день или два назад.

«Приличный малый как будто», – подумал Фюзелли.

– Как вас зовут? – спросил лейтенант, проводя вкось по горлу своей безопасной бритвой и обращаясь к маленькому никелевому зеркальцу. Он немного заикался. Фюзелли показалось, что у него английский выговор.

– Фюзелли!

– Из итальянцев, должно быть?

– Да, – мрачно ответил Фюзелли, отодвигая от стены одну из коек.

– Parla italiano?

– Вы спрашиваете, говорю ли я по-итальянски? Нет, сэр, – сказал Фюзелли решительно, – я родился в Фриско.

– В самом деле? Принесите мне, пожалуйста, еще воды.

Вернувшись с водой, Фюзелли зажал между коленями щетку и принялся дуть на свои руки, онемевшие от холодного ветра. Лейтенант был уже одет и тщательно застегивал верхний крючок своей тужурки. На его розовой шее выступила от воротника красная полоска.

– Прекрасно! Когда вы справитесь, доложите в роте.

Лейтенант вышел, с самодовольным и значительным видом натягивая перчатки.

Фюзелли медленно пошел обратно в палатку, в которой стояли солдаты, глаза по сторонам на окутанные туманом длинные ряды тощих бараков, с которых капала вода; на большие жестяные навесы походной кухни, где сустились среди пара от готовящейся еды дежурные и кашевары в засаленных синих передниках.

В мозгу Фюзелли почему-то запечатлелся жест, которым лейтенант натягивал перчатки. Такие движения ему приходилось видеть только в кинематографе у важных, толстых господ во фраках; да еще у председателя общества, которому принадлежала оптическая мастерская, где он работал на родине, в Фриско, были, пожалуй, тоже манеры в этом духе.

И он представлял себе, как сам натягивает таким манером пару перчаток, важно, палец за пальцем, и чувствует легкий прилив самодовольства, когда операция закончена. Нужно во что бы то ни стало добиться капральства!

*Вьется и вьется тропинка
Во Франции по пустырям.*

Рота бодро распевала, шлепая по грязи. Серая дорога тянулась между высокими заборами, обтянутыми колючей проволокой, над которой высились крыши товарных складов и трубы фабрик.

Лейтенант и старый сержант шли рядом, болтая, и время от времени со снисходительным видом подтягивали. Капрал пел с увлечением, и глаза его сверкали от наслаждения. Даже мрачный сержант, который редко с кем-либо разговаривал, и тот подтягивал. Рота маршировала. Ее девяносто шесть ног бодро шлепали по глубоким лужам. Ранцы болтались из стороны в сторону, как будто шагали не ноги, а они.

*О ясень, и дуб, и плакучая ива,
И Божьей страны колосистая нива!..*

Наконец-то они шли куда-то! Они отделились от кадра, с которым приехали из Америки. Теперь они были совсем одни. Наконец-то они увидят дело. Лейтенант шагал с важным видом. Сержант шагал с важным видом. Капрал шагал с важным видом, Правофланговый выступал еще величественнее. Сознание собственной значительности, чего-то чудовищного, что предстояло совершить, возбуждало солдат, как вино, уменьшало, казалось, тяжесть ранцев и поясов, делало более гибкими их плечи и затылки, онемевшие от давления тяжести, и заставляло все девяносто шесть ног бодро шагать, несмотря на топкую грязь и глубокие грязные рытвины.

Под темным навесом товарной станции, где им пришлось ждать поезда, было холодно. Несколько газовых фонарей бледно мигали наверху среди стропил, освещая прозрачным светом белые груды ящиков с амуницией и бесконечные ряды снарядов, тонувшие в темноте. Холодный воздух был пропитан угольным дымом и запахом свежевystруганных досок. Капитан и старший сержант исчезли. Люди рассеялись вокруг, расположившись кучками, как можно глубже заползая в свои шинели и притоптывая окоченевшими мокрыми ногами по покрытому грязью цементному полу. Выдвижные двери были заперты из-за них доносился однообразный стук вагонов, переходящих на запасные пути, грохот сталкивающихся буферов и по временам свистки паровоза.

– Ну уж эти французские железные дороги! Ни к черту не годятся!

– А ты почему знаешь? – проскрипел Эйзенштейн, сидевший на ящике в стороне от других; он подпер свое худое лицо руками и уставился на покрытые грязью сапоги.

– А вот смотри! – Билли Грей ткнул по направлению к потолку. – Газ! Даже электричества нет.

– Их поезда ходят быстрее наших, – сказал Эйзенштейн.

– Черта с два! Один парень там, в лагере для выздоравливающих, говорил мне, что меньше чем в четыре или пять дней никуда не доберешься.

– Просто он тебе очки втирал, – сказал Эйзенштейн. – У них самые скорые поезда в мире, во Франции.

– Ну уж, до «Двадцатого века» им далеко! Черт побери, я сам железнодорожник, тоже кое-что смыслю.

– Мне нужны в помощь пять человек, чтобы распределить продовольствие, – сказал сержант, вынырнув вдруг из темноты. – Фюзелли, Грей, Эйзенштейн, Мэвилл, Вильямс! Так, идемте.

– Послушайте, сержант, этот парень говорит, что у лягушатников поезда ходят быстрее наших. Что вы на это скажете?

Сержант напялил на свое лицо комическое выражение. Все приготовились расхохотаться.

– Что ж, если он предпочитает пульмановский вагон, в который нас погрузят сегодня вечером, «Западному экспрессу» – милости просим!

Все засмеялись. Старший сержант приветливо обернулся к пяти солдатам, вошедшим за ним в маленькую ярко освещенную комнату, похожую на товарное отделение.

Нам нужно разобрать жратву, ребята. Видите эти ящики? Здесь ваш трехдневный паек. Нужно разделить его на три части, по одной для каждого вагона.

Фюзелли вскрыл один из ящиков. Банки с мясными консервами покатались под его пальцами. Он не переставал исподтишка наблюдать за Эйзенштейном, который работал очень ловко, с небрежным видом. Старший сержант стоял тут же, широко расставив ноги, и наблюдал за ним. Раз он сказал что-то шепотом капралу. Фюзелли показалось, что он уловил слова «рядовые первого разряда», – и его сердце сильно забилося.

В несколько минут дело было окончено, и все выпрямились, закуривая папироски.

– Молодчики! – сказал сержант Джонс, мрачный человек, который редко говорил. – Я не предполагал, конечно, в то время, когда говорил проповеди и заведовал воскресной школой, что мне придется когда-нибудь употреблять крепкие слова, но все же я должен сказать, что у нас чертовски славная рота.

– О, мы еще не то от вас услышим, когда доберемся до фронта и треклятые немецкие аэропланы станут забрасывать нас бомбами, – сказал старший сержант, хлопая его по спине. – Еще крепче станете выражаться. А теперь вы, пятеро, будете заведовать продовольствием.

Грудь у Фюзелли выпятилась.

– Рота останется на ночь под командой капрала. Мы с сержантом Джонсом должны быть при лейтенанте, поняли?

Они вернулись все вместе в мрачную комнату, где ожидала, закутавшись в свои шинели, остальная часть роты; они старались, чтобы их превосходство не сказывалось слишком явно в их походке.

«Ну, теперь я двинулся вперед по-настоящему, – подумал про себя Фюзелли. – Теперь то уж по-настоящему».

Товарный вагон монотонно стучал и громыхал по рельсам. Резкий, холодный ветер задувал в щели грязных, растрескавшихся досок пола. Люди забивались в углы вагонов, прижимаясь друг к другу, точно щенята в ящике. Было темно, как в колодце. Фюзелли лежал в полудремоте, голова его была полна странных отрывочных снов. Сквозь забытие он чувствовал мучительный холод, непрерывный грохот колес и давление закутанных в шинели и одеяла тел, рук и ног, прижавшихся к нему. Вдруг он проснулся. Зубы его стучали. Резкий стук колес, казалось, переместился в голову, и голова волочилась по земле, ударяясь о холодные железные рельсы. Кто-то зажег спичку. Черные колеблющиеся стены товарного вагона, ранцы, сваленные в кучу посередине пола, груды тел по углам, кое-где, случайно светлеющее среди массы хаки бледное лицо или пара глаз – все на минуту ясно выступило и снова исчезло в полной темноте. Фюзелли положил голову на чью-то руку и постарался заснуть, но скрип и громыханье колес мешали ему; он лежал с открытыми глазами, уставившись в темноту и стараясь защитить свое тело от порывов холодного ветра, который прорывался сквозь щели пола. Когда в вагоне забрезжил первый сероватый свет, они все поднялись и начали топтать, колотить друг друга и бороться, чтобы как-нибудь согреться.

Было уже почти светло, когда поезд остановился и они открыли раздвижные двери. Они стояли на станции, имевшей необычный для них вид: стены были обклеены незнакомыми глазу плакатами. «V-e-r-s-a-i-l-l-e-s», – прочел по буквам Фюзелли.

– Версаль, – сказал Эйзенштейн, – тут жили французские короли.

Поезд тронулся снова, медленно развивая скорость. На платформе стоял старший сержант.

– Ну, как спали? – закричал он, когда вагон прошел мимо. – Эй, Фюзелли, начните-ка раздавать пайки!

– Слушаюсь, сержант, – сказал Фюзелли.

Сержант побежал обратно к передней части вагона и вскочил в него.

С восхитительным чувством облеченного властью человека Фюзелли роздал хлеб, мясные консервы и сыр. Затем он уселся на свой ранец и, весело насвистывая, принялся за сухой хлеб и безвкусное мясо, в то время как поезд, громыхая и постукивая, мчался по незнакомой туманно-зеленой местности. Он весело посвистывал, потому что отправлялся на фронт, где его ждали слава и почет; потому что он чувствовал, что начинает пробиваться в этом мире в первые ряды.

Был полдень. Бледное маленькое солнце, точно игрушечный мяч, низко висело на красновато-сером небе. Поезд остановился на разъезде среди рыжевато-бурой равнины. Жел-

тые тополя, легкие как дымка, стройно подымались к небу вдоль берега черной блестящей реки, бурлившей около полотна. В серой дали слабо вырисовывались очертания колокольни и несколько красных крыш.

Люди толпились около поезда, балансируя то на одной, то на другой ноге, притоптывая, чтобы согреться. На другом берегу реки стоял старик с запряженной волами телегой и с грустью смотрел на поезд.

– Эй, послушайте! Где тут фронт? – крикнул ему кто-то.

Все подхватили крик:

– Эй, послушайте, где фронт?

Старик махнул рукой, покачал головой и прикрикнул на волов. Животные снова двинулись своим спокойным, мерным шагом. Старик пошел впереди, опустив глаза в землю.

– Оглохли, что ли, эти лягушатники?

– Послушай, Дэн, – сказал Билли Грей, отходя от кучки людей, с которыми он разговаривал, – эти молодцы говорят, что мы отправляемся в третью армию.

– Куда это?

– В Орегонские леса, – отважился кто-то.

– Это на фронте, что ли?

В это время мимо прошел лейтенант. Длинный шарф защитного цвета был небрежно обмотан у него вокруг шеи и спускался вдоль спины.

– Ребята, – сказал он строго, – приказано не выходить из вагонов!

Солдаты мрачно полезли обратно в вагоны. Мимо прошел санитарный поезд, медленно постукивая по перекрещивающимся путям. Фюзелли напряженно смотрел на темные загадочные окна, на красные кресты и одетых в белое санитаров, которые высывались из дверей, махая им руками. Кто-то заметил царапины на свежей зеленой краске последнего вагона.

– Должно быть, гунны обстреляли.

– Эй, ребята, слышали? Гунны обстреляли этот санитарный поезд.

Фюзелли вспомнил памфлет «Немецкие зверства», который он прочел как-то вечером в газете ХАМЛ. В его воображении внезапно замелькали дети с отрубленными руками, проколотые штыками грудные младенцы, женщины, привязанные к столу ремнями и насилуемые одним солдатом за другим. Он подумал о Мэб. Как бы ему хотелось быть в боевой части, чтобы драться, драться по-настоящему. Он представлял себе, как он убивает десятки людей в зеленых формах, а Мэб читает об этом в газетах. Нужно будет во что бы то ни стало попытаться перейти в боевую часть. Он не в силах оставаться нестроевым.

Поезд тронулся снова. Туманные рыжеватые поля скользили мимо, а темные массы деревьев кружили медленно колеблющимися ветвями, убранными желтой и коричневой листвой, выплетая черные кружева на красновато-сером небе. Фюзелли взвешивал свои шансы на производство в капралы.

Ночь. Тускло освещенная станционная платформа. Рота расположилась в два ряда, каждый солдат на своем ранце. На противоположной платформе виднелась толпа людей небольшого роста, в синих формах, с усами, в длинных запачканных шинелях, которые спускались почти до пят. Они кричали и пели. Фюзелли наблюдал за ними с легким презрением.

– Черт, и чудные же у них шлемы!

– Это лучшие воины в мире, – сказал Эйзенштейн, – хотя это, пожалуй, и не великое достоинство в человеке.

– Послушай-ка, вон там военный полицейский, – сказал Билли Грей, схватив Фюзелли за руку. – Пойдем-ка, спросим его, далеко ли до фронта. Мне послышалась только что пушка.

– Да ну? На этот раз мы, кажется, попадем.

– Скажи-ка, братец, далеко отсюда фронт?

– Фронт? – сказал полицейский, краснолицый ирландец с перебитым носом. – Как раз в другой стороне; вы посередине Франции. – Полицейский с презрением сплюнул. – Вы, ребята, никогда не попадете на фронт, не беспокойтесь.

– Черт, – сказал Фюзелли.

– Будь я проклят, если не проберусь туда как-нибудь, – сказал Билли Грей, выпячивая челюсть.

Мелкий дождь падал на незащищенную платформу. На другой стороне маленькие челювечки в синем пели песню, которую Фюзелли не понимал, и потягивали из своих неуклюжих на вид манерок.

Фюзелли объявил новость роте. Все столпились с руганью вокруг него. Но чувство собственного превосходства, вызванного его осведомленностью, не могло заглушить другого чувства, говорившего ему, что машина затирает его, что он беспомощен, как овца в стаде.

Часы проходили. В ожидании приказа солдаты то начинали притоптывать на платформе, то усаживались в Ряд на свои ранцы. За деревьями протянулась серая лента. Платформа мало-помалу засеребрилась мягким светом. Они сидели в ряд на своих ранцах и ждали.

II

Рота стояла, вытянувшись во фронт перед бараками, длинными деревянными строениями, крытыми просмоленным картоном. Перед ними тянулся ряд растрепанных платанов, белые стволы которых казались в бледных красноватых лучах солнца точно вырезанными из слоновой кости. Дальше шла изрытая рытвинами дорога, вдоль которой тянулась длинная вереница французских грузовиков с горбатыми серыми кузовами, похожими на слонов. За ними опять платаны и новый ряд крытых просмоленным картоном бараков, перед которыми были выстроены другие роты.

Далеко вдали играла труба.

Лейтенант стоял, молодежато вытянувшись во фронт. Глаза Фюзелли перебежали от изгибов его ослепительно начищенных кожаных обмоток вверх, к нашивкам на рукавах.

– Вольно! – скомандовал лейтенант глухим голосом. Руки и ноги задвигались одновременно.

Фюзелли думал о городе. После вечерней зори можно было спуститься по неправильным, вымощенным булыжником улицам со старой ярмарочной площади (где помещался лагерь) в маленький садик с серым каменным фонтаном и маленьким ресторанчиком. Там можно было присесть за дубовый столик и получить пиво, яйца и вареный картофель, поданный краснощекой девушкой с пухлыми, белыми, аппетитными руками.

– Смирно!

Руки и ноги задвигались в унисон. Звуки трубы так слабо доносились издали, что они едва различали их.

– Ребята, я должен объявить вам несколько производств, – сказал лейтенант, повернувшись лицом к роте и переходя на легкий разговорный тон: – Вольно! Вы хорошо поработали здесь на складах, ребята. Я очень рад, что у меня такая прилежная команда, и я, конечно, надеюсь, что нам удастся провести столько производств, сколько только возможно.

Руки у Фюзелли были холодны как лед, и сердце его с такой стремительностью накачивало кровь к ушам, что он с трудом разбирал слова.

– Следующие рядовые – в рядовых первого разряда, – прочел лейтенант официальным голосом. – Грей, Эплтон, Вильямс, Эйзенштейн, Портер. Эйзенштейн будет ротным писарем. Фюзелли был почти готов заплакать. Его имени не было в списке.

После длинной паузы раздался мягкий, как бархат, голос сержанта:

– Вы упустили Фюзелли, сэр.

– О, в самом деле! – лейтенант рассмеялся сухим смешком. – И Фюзелли.

«Черт! Нужно будет написать Мэб сегодня вечером, – говорил себе Фюзелли. – То-то она будет гордиться, когда получит письмо».

– Рота, вольно! – весело крикнул сержант.

*Ах, мадермезель из Армантира,
Парле ву? —*

затянул сержант своим сладким голосом.

Передняя комната кафе была полна солдат. Их хаки закрывали стертые дубовые скамьи, края квадратных столиков и красные черепицы пола. Они теснились вокруг столов, на которых тускло поблескивали сквозь табачный дым бутылки и стаканы, они толпились перед стойкой и пили из бутылок, смеясь и шаркая по полу ногами. Полная девушка с румяными щеками и пухлыми, белыми руками весело сновала между ними, уносила пустые бутылки, приносила полные и передавала деньги безобразной старухе с серым лицом и похожими на осколки черного янтаря глазами. Она тщательно рассматривала каждую монету, ощупывала ее своими серыми руками и неохотно опускала в ящик с деньгами. В углу сидели сержант Ольстер с разгоряченным лицом, капрал и еще один сержант, большой человек с черными волосами и черными усами. Около них с выражением восторженной почтительности на лицах жались Фюзелли, Билли Грей, ковбой Мэдвилл и Эрл Вильямс, голубоглазый и желтоволосый аптекарский приказчик.

*Янки не выходит из трактира,
Парле ву?*

Они стучали по столу бутылками в такт песне.

– Это славное местечко, ребята, – сказал старший сержант, внезапно прерывая песню. – Можете не беспокоиться, уж я позаботился, чтобы нам досталось хорошее местечко, а насчет фронта не стоит очень огорчаться. Мы еще успеем побывать там. Я слышал, что эта война протянется десять лет.

– Должно быть, мы все будем к тому времени генералами, сержант, э? – сказал Вильямс, – А все-таки хотел бы я, братец, быть теперь дома и разливать содовую воду.

– Война – великое дело, если не падать духом, – автоматически пробормотал Фюзелли.

– А я вот начинаю падать духом, – сказал Вильямс. – У меня тоска по дому. Я прямо говорю. Мне все равно, пусть слышат. Уж скорее бы попасть на фронт и отделаться от этой истории.

– Слушай, тебе надо подтянуться... Выпей, брат, – сказал старший сержант, стуча кулаком по столу. – Послушайте, мамзель, дайте нам еще «мэм шоуз»...

– Я не знал, что вы говорите по-французски, сержант, – сказал Фюзелли.

– Кой черт по-французски! – ответил старший сержант. – Вот Вильямс – тот мастер по этой части. «Буле ву куше авек муа?» – вот все, что я знаю.

Все рассмеялись.

– Эй, мамзель! – закричал старший сержант. – Буле ву куше авек муа? Буле ву куше авек муа? Уй! Уй! Шампань!

Все корчились от смеха.

Девушка добродушно хлопнула сержанта по голове.

В эту минуту в кафе шумно ввалился высокий, широкоплечий человек в расстегнутой английской шинели. Он шел нетвердо, колеблющейся походкой, от которой зазвенели стаканы на столах, и мурлыкал себе под нос. На его широком лице сияла улыбка. Он подошел к девушке

и сделал вид, что хочет поцеловать ее, а она смеялась и фамильярно болтала с ним по-французски.

– А вот и Дикий Дэн Коуэн, – сказал черноволосый сержант. – Эй, Дэн, Дэн!

– Здесь, ваше благородие!

– Иди-ка сюда. Мы будем пить шипучку.

– Никогда не отказываюсь.

Они очистили для него место на скамье.

– А я под арестом, – сказал Дэн Коуэн, – посмотрите-ка на меня. – Он засмеялся и резким забавным движением откинул голову набок. – Компри?

– А не боишься ты, что они накроют тебя? – сказал Фюзелли.

– Накроют меня, черт возьми! Они ничего не могут мне сделать. Меня уже три раза отдавали под суд и теперь собираются притянуть в четвертый.

Дэн Коуэн откинул голову набок и засмеялся.

– У меня тут друг есть, мой прежний патрон. Он теперь капитан. Уж он устроит это дело. Компри?

Появилось шампанское, и Дэн Коуэн ловкими красными пальцами выпустил пробку в потолок.

– А я как раз гадал, кто-то меня сегодня выпивкой угостит, – сказал он. – Жалованье я и в глаза не видал с той поры, как Христос служил капралом. Забыл даже, на что оно похоже.

Шампанское запенилось в пивных бокалах.

– Вот это жизнь, – сказал Фюзелли.

– Ты чертовски прав, братец! Главное, не позволяй им оседлать тебя.

– За что тебя притягивают теперь, Дэн?

– Убийство.

– Убийство? Черт, как же это?

– Да очень просто, если этот болван умрет.

– Черт, что ты мелешь?

– Все вышло из-за этой проклятой командировки, когда нас послали в Нант, Билла Риза и меня... Хэй, Мари, анкор шампань, боку! Я числился тогда на санитарной службе: сам черт не разберет, на какой службе я числюсь теперь. Наш отряд был на отдыхе, и они послали несколько человек наших ребят в Нант, чтобы забрать оттуда обоз грузовиков и доставить их в Сандрекур. Мы отправились, как настоящие гонщики, на одних только шасси. Савэй ву? Мы с Билли были, черт побери, в хвосте отряда, а лейтенант у нас был болван набитый, сена от соломы не отличит.

– А где этот самый Нант, черт возьми? – спросил старший сержант, как будто этот вопрос только что мелькнул у него в голове.

– На берегу, – ответил Фюзелли. – Я видел его на карте.

– Нант провалился к черту, больше и духу его нет, – сказал Дикий Дэн. Он набрал в рот шампанского и подержал его немного, двигая челюстями, как корова, жующая жвачку. – И так как мы с Биллом были в хвосте, а по дороге, куда ни плюнь, все кафе да кабачки, так мы с Биллом и задерживались иногда, чтобы пропустить рюмочку-другую, сказать девочке «бонжур» и покалякать с людьми. А потом уж мы летели во всю прыть, точно пуля из пекла, чтобы догнать их. Ладно, не знаю уж, слишком ли быстро мы ехали, или они сбились с дороги, или что еще тут вышло, только больше мы этого проклятого обоза в глаза не видели с той минуты, как выехали из Нанта. Тут уж мы решили осмотреть заодно местность, компри? Так мы и сделали, черт возьми! Словом, мы приперли прямо в Орлеан, пьяные как черти, без капли бензина в баке и с полевым полицейским, уцепившимся за задок.

– Что же, вас посадили?

– Как бы не так, – сказал Дикий Дэн, откидывая голову набок! – Они дали нам бензину, выдали паек и амуницию и велели отправляться на следующее утро. Дело в том, что мы здо-

рово втерли им очки, компри? Так вот отправились мы в шикарный ресторан. Понимаешь, на нас была английская форма, которую они нам выдали, и военная полиция не могла раскусить, что мы, собственно, за птицы. Так вот отправились мы, заказали настоящий обед, море этого *vin blanc* и *vin rouge*, опрокинули по несколько стаканов коньяку, и не успели мы опомниться, как мы уже заседали в тесной компании с двумя капитанами и одним сержантом. Один из капитанов был самым отчаянным пьяницей, какого я в жизни видел! В общем, теплые ребята! Когда мы пообедали, Билл Риз и говорит: «А не устроить ли нам этакую увеселительную прогулочку?» А капитан и говорит: «Чудно!» И сержант сказал бы «чудно», да только он был на таком взводе, что уж и говорить не мог. Ну, мы и отправились... Послушайте, ребята, у меня все нутро пересохло, прикажите еще бутылку.

– Конечно, – сказали все в один голос.

– Бон суар, ма шер! Коман алле ву?

– Анкор шампань, Мари, жантиль!

– Так вот, – продолжал он, – полетели это мы как черти... Хорошая шоссейная дорога...

И все было ладно, пока один из капитанов не решил, что нам следовало бы ускорить гонку. Ну, гонка так гонка. Компри? Все шло гладко, только мы так увлеклись гонкой, что совсем забыли о сержанте. Он вывалился, а никто и не спохватился. Наконец застопорили это мы перед каким-то кабаком, один из капитанов и говорит: «Где же сержант?» А другой капитан спорит, что никакого сержанта с нами и не было. Ну, мы все тут по этому случаю выпили. А капитан все продолжает твердить: «Это одно воображение! Никакого сержанта не было. Стал бы я связываться с каким-нибудь сержантом? Не правда ли, лейтенант?» Он все время называл меня лейтенантом... Они потом, черти, сделали из этого новое обвинение против меня: будто я выдавал себя!.. Кто-то подобрал сержанта на дороге, у него приключилось сотрясение мозга. Изволь расплачиваться теперь, черт побери! А если бедняга окочурится – мне крышка. Компри? К тому времени капитаны собрались как раз в Париж – ну, мы, значит, вызвались их подвезти. Перелили мы весь бензин в мой мотор, взгромозились вчетвером на это проклятое шасси и помчались, как пуля из пекла. Все было хорошо, если бы у меня в глазах не двоилось. Минуты этак через две мы наткнулись на одну из этих симпатичных каменных кучек, с краю шоссе, да так и остались там. Однако мы все поднялись на ноги, только один из капитанов сломал себе руку. Это было уж похуже, чем потерять сержанта. Отправились мы дальше по дороге пешком. Я даже не помню, как подошло время к рассвету. Мы добрались до какого-то проклятого городишки, а там нас уж поджидали два военных полицейских... Компри? Ну, тут уж мы не стали больше возиться с капитанами, сиганули поскорее в боковую улицу, забрались в маленькое кафе, утвердились там в задней комнате и напились в свое удовольствие горячего кафэ-о-лэй. Это нас как будто немного подправило, и я сказал Биллу: «Билл, нам нужно пробраться в штаб и доложить, прежде чем военная полиция примется за дело, что мы вследствие несчастного случая расквасили нашу машину». – «Правильно, черт возьми!» – говорит Билл. И вот в эту самую минуту вижу я через Щель в дверях, как в кафе входит военный полицейский. Мы прошмыгнули в сад и взяли курс на забор. Нам удалось перемахнуть, хотя добрая часть моих штанов осталась там на битом стекле. Но самое скверное было то, что полицейские перемахнули за нами, а при них к тому же были револьверы. С Билли Ризом тут случилась такая Штука. Там, в саду, была огромная толстая женщина в розовом платье, которая стирала белье в большой лоханке, и вот бедный старичина Билли Риз бросается головой прямо ей в живот, и оба они попадают в лоханку. Полицейский и извлек его оттуда, а тем временем я улизнул. Когда я в последний раз видел Билли Риза, он барахтался в лохани, как будто плавал, а толстая женщина сидела на земле и грозила ему кулаком. Лучшего товарища, чем Билл Риз, у меня в жизни не было.

Он замолчал, вылил остатки шампанского в свой стакан и вытер с лица пот.

– Ты это не пули нам отливаешь, а? – спросил Фюзелли.

– Спросите только лейтенанта Уайтхеда, который защищает меня в военном суде, заливаю я или нет? Я был боксером, и ты можешь прозакладывать свой последний доллар, что человек, бывший боксером, врать не станет.

– Валяй дальше, Дэн, – сказал сержант.

– С тех пор я ни звука не слыхал о Билли Ризе. Я думаю, они послали его в окопы и живо там обработали. – Дэн Коуэн замолчал и зажег папиросу. – Ну так вот, один из этих полицейских бежит за мной и начинает стрелять. Уж можете представить себе, как я улепетывал. Черт, у меня душа в пятки ушла! Но мне подвезло. Какой-то француз как раз трогался на своем грузовике; я вскочил на него и сказал, что за мной гонятся жандармы. Он весь так и побелел, лягушатник-то. И как запалил! Как пуля из пекла! На шоссе как раз было чертовское движение – в то время на фронте как раз шло какое-то дурацкое наступление или еще что-то. Так я и добрался до Парижа. И тут все сошло бы гладко, если бы я не встретился с Джейн. При мне было еще почти пятьсот франков, и мы с ней здорово повеселились. Только однажды отправились мы обедать в Кафе-де-Пари – оба мы были уже немного того, подшофе, – и у нас не хватило денег, чтобы заплатить по счету. Джейн побежала доставать деньги, но пока она ходила, полицейский застукал меня, и тут уж вышла чертовская история... Ком-при? Они посадили меня в Бастилию, теплое местечко... Затем отослали меня в какой-то проклятый лагерь, ткнули мне ружье, заставили неделю учиться, а в конце концов набили целый поезд все такими ребятами, вроде меня, и отправили на фронт. Бедняжке Дэниелу чуть не пришел тут конец. Но когда мы стояли в Витри-ле-Франсуа, я выбросил свою винтовку в одно окно, сам выскочил в другое, поймал парижский поезд, приехал и доложил в штабе, как я сломал машину, попал в Бастилию и все, что было дальше. Они чертовски обозлились на полицию и послали меня в мою часть. Все шло хорошо, пока меня не вызвали обратно и не откомандировали в этот проклятый лагерь. А теперь я не знаю, что они со мной сделают.

– Черт возьми!

– Это великая война, сержант, говорю вам. Это великая война! Я не жалею, что участвую в ней.

Кто-то распевал на всю комнату:

*Бон суар, ма шери,
Коман алле ву?
Вуле ву
Кюше авек муа?*

– Ну, я должен убираться отсюда, – сказал Дикий Дэн через минуту. – Меня ждет здесь одна цыпочка. Свидание. Компри? – Он встал и пошел, пошатываясь и напевая.

Народу стало меньше. Мадам отложила свое вязание, и Мари с пухлыми, белыми руками села рядом с ней, откинув голову назад и опираясь на бутылки, которые поднимались ярусами за ее спиной.

Фюзелли не отрывался от одной из дверей в конце стойки. Посетители кафе то и дело открывали ее, заглядывали и закрывали снова с каким-то особенным выражением на лицах. Время от времени кто-нибудь улыбаясь открывал ее и проходил в следующую комнату, обтирая ноги и тщательно закрывая за собой дверь.

– Послушайте, что это у них там? – сказал старший сержант, пристально смотревший на дверь. – Необходимо расследовать, необходимо расследовать, – прибавил он пьяным голосом.

– Не знаю, – сказал Фюзелли. Шампанское шумело у него в голове, как муха у оконного стекла. Он чувствовал себя очень смелым и сильным.

Старший сержант нетвердо поднялся на ноги.

– Капрал, посмотрите за порядком, – сказал он и направился к двери. Он немного приоткрыл ее, заглянул, многозначительно подмигнул своим друзьям и проскользнул туда.

Капрал последовал за ним. Он воскликнул: «Ах, провались я на этом месте!» – и вошел, оставив дверь открытой настежь. Через минуту ее закрыли изнутри.

– Пойдем, Билли, посмотрим, какого черта они там нашли, – сказал Фюзелли.

– Ладно, старина, – сказал Билли Грей.

Они подошли вдвоем к двери. Фюзелли открыл ее, заглянул внутрь и с легким свистом пропустил дыхание сквозь зубы.

– Ну и черт! Входи, Билли! – сказал он, хихикая.

Маленькая комната была почти целиком занята обеденным столом, покрытым красной скатертью. На каменной доске над пустым очагом стояли подсвечники; болтающиеся хрустальные подвески сверкали красными, желтыми и пурпурными огнями при свете лампы, горевшей перед треснувшим зеркалом, которое можно было принять за окно в другую, более темную комнату. Бумага отставала от сырых стен. Воздух в комнате был пропитан могильным запахом сырой штукатурки, которого не могли заглушить даже испарения пива и табака.

– Взгляни-ка на нее, Билли, разве не тонкая штучка? – прошептал Фюзелли.

Билли Грей что-то буркнул.

– Послушай, как ты думаешь, та Джейн, с которой этот малый кутил в Париже, была вроде этой?

В конце стола, опираясь на локти, сидела женщина с вьющимися черными волосами, которые торчали во все стороны на ее голове. У нее были темные глаза и красные, немного припухшие губы. Она с некоторым вызовом смотрела на мужчин, стоявших у стен и сидевших за столом.

Мужчины молча смотрели на нее. Большой человек с рыжими волосами и тяжелой челюстью, сидевший рядом с ней, старался придвинуться поближе. Кто-то так сильно стукнул по столу, что бутылка и рюмки, собранные на середине, зазвенели.

– Неряха она, вот что. У нее стриженные волосы, – сказал человек, сидевший рядом с Фюзелли.

Женщина сказала что-то по-французски. Только один человек понял это. Его смех глухо прозвучал в тихой комнате и внезапно оборвался. Женщина с минуту внимательно рассматривала окружавшие ее лица, потом пожала плечами и начала разглаживать ленту шляпы, которую она держала на коленях.

– Как она попала сюда, черт побери? Я думал, что военная полиция выжила их из города, как только появилась здесь, – сказал один человек.

Женщина продолжала дергать свою шляпу.

– Ву вонэй Пари? – сказал парень с мягким голосом, сидевший рядом с ней. У него были голубые глаза и слегка тронутый загаром молочный цвет лица, странно выделявшийся на фоне огрубелых красных и коричневых лиц.

– Oui, de Paris, – сказала она после паузы, неожиданно взглядывая в лицо парня.

– Все врет, уж поверьте мне, – сказал рыжеволосый человек, который к этому времени успел придвинуть свой стул очень близко к стулу женщины.

– Вы сказали ему, что приехали из Марселя, а тому – что из Лиона, – сказал парень с молочным цветом лица, весело улыбаясь. – Правда, откуда вы приехали?

– Я приехала отовсюду, – сказала она, откидывая волосы с лица.

– Много путешествовали? – снова спросил парень.

– Один приятель рассказывал мне, – сказал Фюзелли Билли Грею, – что ему пришлось говорить раз с одной такой вот девицей, которая побывала в Турции и в Египте. Бьюсь об заклад, что эта девочка тоже видала виды.

Вдруг женщина вскочила на ноги, вскрикнув от злости. Человек с рыжими волосами испуганно отодвинулся. Затем он поднял свою широкую грязную руку вверх.

– Камарад, – сказал он.

Никто не засмеялся. В комнате царило молчание, нарушаемое только случайным шарканьем ног по полу. Она надела шляпку и, вынув из сумки маленькую коробочку, начала пудриться, гримасничая перед зеркалом, которое держала в ладони.

Мужчины не спускали с нее глаз.

– Сдается мне, что она Бог весть что о себе воображает, – сказал один человек, поднимаясь на ноги. Он перегнулся через стол и плюнул в камин. – Я иду домой в бараки. – Он повернулся спиной к женщине и закричал полным ненависти голосом: – Бон суар!

Женщина вкладывала пуховку обратно в свой стеклярусный мешочек. Она не подняла глаз; дверь резко захлопнулась.

– Пойдем, – сказала вдруг женщина, откидывая назад голову, – пойдем. Кто идет со мной?

Никто не отозвался. Мужчины молча смотрели на нее. Не слышно было ни одного звука, кроме шарканья ног по полу.

III

Овсяная каша тяжело шлепнулась в котелок. Глаза Фюзелли все еще слипались от сна. Он уселся на темной засаленной скамье и глотнул горячий кофе, слегка отдававший посудными тряпками. Это немного разогнало сон. В кухонном бараке было мало разговоров. Солдаты, которых зоря вытащила из-под одеяла всего каких-нибудь пятнадцать минут назад, сидели в ряд, мрачно ели, щурясь друг на друга сквозь дымную мглу. Слышалось только шарканье ног по усыпанному золой полу и звяканье котелков об столы или изредка чей-нибудь кашель. У стойки, где раздавали пищу, один из кашеваров не переставая бранился плаксивым, однотонным голосом.

– Черт возьми, Билли, ну и голова у меня сегодня, – сказал Фюзелли.

– Поделом тебе, – проворчал Билли Грей. – Мне пришлось силой тащить тебя в барак. Ты все твердил, что хочешь вернуться назад, чтобы целоваться с этой девицей.

– В самом деле? – сказал Фюзелли, хихикая.

– Мне чертовски трудно было протащить тебя мимо караула.

– Это все коньяк... Теперь у меня похмелье, – сказал Фюзелли.

– Будь я проклят, если смогу еще долго тянуть это.

– Что?

Они мыли свои обеденные котелки в чане с теплой водой, загустевшей от жира сотен вымытых в ней котелков. Электричество слабо освещало поверхность воды, где плавала овсянка и кофейная гуща, кадки для мусора с табличками «Сухой мусор», «Мокрый мусор», солдат, стоявших в очереди к чану.

– Эту чертову жизнь! – свирепо сказал Билли Грей.

– Да о чем ты?

– Только и дело, что упаковывать перевязочные материалы в ящики и вытаскивать их оттуда. Этак с ума сойти можно! Хотел напиться, так от этого не легче.

– Черт, ну и голова у меня сегодня, – повторил Фюзелли.

Когда они зашагали по направлению к баракам, Билли Грей обнял своей тяжелой, мускулистой рукой Фюзелли за плечи.

– Послушай, Дэн, я собираюсь на фронт.

– Не делай этого, Билли. Черт! Подумай о том, сколько у нас шансов получить капрала, если мы не напортим себе сами.

– Яйца выеденного я за все это не дам... Почему я, по-твоему, пошел в эту проклятую армию? Потому что мне форма, что ли, к лицу? – Билли Грей засунул руки в карманы и решительно плюнул перед собой.

– Но, Билли, ведь не хочешь же ты остаться вонючим рядовым?

– Я хочу попасть на фронт, я не желаю торчать здесь, пока не ужоу в карцер за какое-нибудь безобразие или не попаду под суд. Послушай, Дэн, хочешь отправиться со мной?

– Тысяча чертей! Ты не поедешь, Билли. Ты просто дурачишь меня? Мы и так попадем на фронт довольно скоро. Я хочу сделаться капралом. – Он слегка выпятил грудь. – Прежде чем отправиться на фронт, я хочу показать, каков я человек. Понимаешь, Билли?

Заиграла труба.

– А я еще свою койку не убрал.

– Я тоже. Ничего не будет, Дэн... Не позволяй им оседлать себя.

Они выстроились на темной дороге, чувствуя, как грязь хлюпает у них под ногами. Выбоины были полны черной воды, в которой мерцали отражения далеких электрических фонарей.

– Сегодня все работают в складе А, – сказал сержант (тот, который был раньше проповедником) своим печальным, тягучим голосом. – Лейтенант приказал, чтобы все было кончено к полудню. Груз сегодня отправляется на фронт.

Кто-то свистнул от удивления.

– Кто это здесь свистит? Никто не отозвался.

– Вольно! – сердито выпалил сержант.

Они побрели в темноте по направлению к одному из освещенных зданий; ноги их то и дело погружались в лужи.

Фюзелли подошел к часовому у ворот лагеря, задумчиво ковыряя в зубах лучинкой от сосновой доски.

– Послушай, Фил, одолжи мне полдоллара! – Фюзелли остановился, засунул руки в карманы и посмотрел на часового, не вынимая лучинки изо рта.

– Очень сожалею, Дэн, – ответил тот. – У меня в кармане чисто. С самого нового года цента в глаза не видал.

– Почему они, черт возьми, не платят жалованья?

– А ваши ребята подписали уже платежную ведомость?

– Конечно, давно уже.

Фюзелли отправился вниз, к городу, по темной дороге, на которой грязь замерзала, образуя глубокие колеи. Он все еще не мог привыкнуть к этому городу. Его маленькие домики с потрескавшейся штукатуркой, по которой сырость расплзалась серыми и зелеными пятнами, пестрота красных черепичных крыш, узкие, вымощенные булыжником улицы, извивавшиеся зигзагами то внутрь, то наружу между высоких облепленных балконами стен, – все казалось ему чужим и странным. Ночью, когда царила полная темнота и на мокрую улицу лишь кое-где падало золотистое отражение горевшей в окне лампы или проливался поток света из магазина или кафе, город казался почти до жути нереальным. Фюзелли пошел в сквер, где раздавалось журчанье фонтана. Дойдя до середины, он остановился в нерешительности. Шинель его была расстегнута, а руки засунуты до самого дна карманов, в которых они не могли, однако, нащупать ничего, кроме сукна. Он долго прислушивался к бульканью фонтана и шуму сцепляемых поездов, доносившемуся издали с товарной станции. «И это война? – подумал он. – Просто курам на смех! Тут по ночам спокойнее, чем дома». На улице за сквером показался белый свет – пыльный фонарь штабного мотора. Оба глаза автомобиля усталились прямо в глаза Фюзелли, ослепляя его, затем повернули в сторону, оставляя за собой легкий запах бензина и отзвуки голосов. Фюзелли смотрел на фасады домов, которые автомобиль осветил, выезжая на главную дорогу. Затем город снова погрузился в темноту и тишину.

Он прошел через сквер по направлению к Cheval Blanc, большому кафе, где собирались офицеры.

– Застегните шинель! – раздался грубый голос.

Он увидел на углу высокую фигуру и очертания кобуры, которая висела, точно маленький окорок, на бедре человека. Военный полицейский! Он торопливо застегнул шинель и быстро зашагал дальше.

Фюзелли остановился перед заманчивым на вид кафе, на окне которого было выведено белой краской: «Ветчина и яйца». Кто-то сзади закрыл ему глаза двумя большими ладонями. Он высвободил голову.

– Хелло, Дэн, – сказал он. – Как ты вырвался из каталажки?

– Меня, брат, не удержишь, – сказал Дэн Коуэн. – Монета есть?

– Ни цента, черт побери!

– У меня тоже. Все равно, идем. Уж я устроюсь с Мари.

Фюзелли в нерешительности последовал за ним. Он немного боялся Дэна Коуэна и вспомнил к тому же, как на прошлой неделе одного солдата предали военному суду за то, что он хотел улизнуть из кафе, не заплатив за выпитое.

Он уселся за столик поближе к дверям. Дэн исчез в задней комнате. Фюзелли чувствовал тоску по дому. Давно уж что-то не приходило писем от Мэб. «Верно, завела уже другого парня!» – свирепо сказал он себе. Он постарался вспомнить ее лицо, но ему пришлось вынуть свои часы и заглянуть под крышку, прежде чем он мог решить, прямой или вздернутый у нее нос. Он поднял глаза, пряча часы в карман. Мари с белыми руками выходила смеясь из внутренней комнаты. Ее большие крепкие груди, обтянутые тесно облегающей блузкой, слегка колыхались при смехе. Ее щеки были очень красны. Вдоль шеи свисала выбившаяся прядь каштановых волос. Она поспешно подбирала ее, подкалывая шпилькой и держа руки за головой, и медленно выходила на середину комнаты. Вслед за ней в комнату вошел Дэн Коуэн с широкой усмешкой на лице.

– Ну, дружище, – промолвил он. – Я сказал ей, что ты заплатишь, когда приедет из Америки Дядя Сэм. Пил ты когда-нибудь кюммель?

– А что это за штука?

– Увидишь.

Они уселись в углу за столиком перед блюдом яичницы. Это был излюбленный столик, за который часто присаживалась поболтать сама Мари в те минуты, когда на нее не устремлялся взор строгой мадам.

Несколько человек пододвинули свои стулья – Дикий Дэн всегда собирал аудиторию.

– Похоже, что на Верден готовится новая атака, – сказал Дэн.

Кто-то неуверенно хмыкнул.

– Смешно, до чего мы мало знаем о том, что там творится, – сказал один солдат. – Я больше знал о войне, когда был дома в Миннеаполисе, чем теперь.

– Должно быть, мы им здорово накладываем, – сказал Фюзелли патристическим тоном.

– Черт, в это время года, во всяком случае, ничего сделать нельзя, – сказал Коуэн. Улыбка расплзлась по его красному лицу. – Последний раз, когда я был на фронте, боши устроили *coup de main* и захватили в плен целую линию окопов.

– Чьих?

– Да американских, наших.

– Что ты мелешь?

– Это дьявольская брехня! – закричал черноволосый малый с плохо выбритым подбородком, который только что вошел в кафе. – Ни одного американца никогда не забирали в плен и не заберут.

– А сколько времени ты был на фронте, братец? – спросил Коуэн холодно. – Ты, чай, и в Берлине успел побывать, а?

– Я говорю, что всякий, кто утверждает, будто американец позволит вонючему гунну взять себя в плен, – лгун, – сказал человек с плохо выбритым подбородком, усаживаясь с мрачным видом.

– Ну, ты бы, пожалуй, лучше не говорил мне этого, – сказал со смехом Коуэн, многозначительно поглядывая на один из своих красных кулаков.

На лице Мари мелькнула догадка. Она посмотрела на кулак Коуэна, пожала плечами и рассмеялась. В эту минуту в кафе ввалилась новая толпа.

– Да никак это Дикий Дэн? Хелло, старина! Как делишки?

Маленький человечек, шинель которого выглядела почти как офицерская благодаря хорошему покрою, горячо пожимал руку Коуэну. На нем были капральские нашивки и фуражка английского летчика. Коуэн очистил для него место на скамье.

– Что ты делаешь в этой дыре, Дак?

Тот скривил рот, так что его изящные черные усики перекошились.

– Чинюсь, – сказал он. – А ты?

Дэн Коуэн проглотил полстакана красного вина, причмокнул своими толстыми губами и начал повествовательным тоном:

– Наша дивизия только что выступила на Брасскую дорогу из Вердена, где мы просидели три недели точно в пекле. Нам приходилось то и дело взбираться там на одну маленькую высоту и рыть окопы. Грязища была такая, что ног не вытащить, а вонь подымалась невыносимая. Особенно когда снаряды разрывали землю, полную трупов. У тебя есть деньги?

– Есть немного, – отвечал Дак без восторга.

– Здесь чертовски вкусное шампанское. Я здесь компаньон в этом кабаке – тебе подадут со скидкой.

– Ладно.

Дэн Коуэн обернулся и прошептал что-то Мари. Она рассмеялась и скрылась за занавеской.

– Но под Шамфором было еще почище. Все мы вроде как бы нервничали, потому что немцы сбросили нам предупреждение, что дают три дня на эвакуацию госпиталя, а после этого снесут все к черту.

– Немцы это сделали? Брось врать-то, – сказал Фюзелли.

– Они сделали то же самое и в Сульи, – сказал Дак.

– Черт, да... Забавная там вышла штука. Госпиталь помещался в огромном запутанном доме, вроде американского отеля. Мы обыкновенно загоняли свой мотор во двор и спали в нем. Нам пришлось подобрать много контуженных молодчиков, которые орали как сумасшедшие и дрожали с головы до ног, а некоторые были вроде как бы парализованные. Во флигеле, как раз против того места, где мы обыкновенно спали, был один человек, который не переставал смеяться. Билли Риз спал со мной вместе в моторе; мы лежали с ним, растянувшись на своих одеялах, и не проходило минуты, чтобы кто-нибудь из нас не перевернулся и не прошептал: «Ну не сущий ли это ад, братец?» – потому что тот парень все продолжал смеяться, как будто он только что услышал шутку, такую смешную, что никак не мог остановиться. Это был совсем не такой смех, как бывает обыкновенно у сумасшедших. Когда я первый раз услышал его, мне показа- лось, что человек и вправду веселится, и я, кажется, сам засмеялся, но он не останавливался... Мы с Билли Ризом лежали в автомобиле и дрожали. Вдали идет перестрелка, То и дело лопаются бомбы с аэропланов, а тут этот малый смеется и смеется, словно ему анекдоты рассказывают. – Коуэн выпил глоток шампанского и откинул голову набок. – И этот проклятый смех продолжался почти до полудня следующего дня, пока санитары не задушили парня. Вышли из себя, видно.

Фюзелли смотрел на другой конец комнаты, откуда доносился ропот справедливого негодования, исходивший от темноволосого человека с небритым подбородком и его товарищей. Фюзелли соображал, что будет, пожалуй, лучше, если его не увидят с таким парнем, как Коуэн, который рассказывает, будто немцы предупреждают госпитали перед обстрелом, а к тому же еще и сам находится под судом. Это может повредить ему. Он выскользнул из кафе в темноту. Влажный ветер носился по кривым улицам, подергивая рябью отраженный в лужах свет и беспрерывно колотя где-то ставнем. Фюзелли снова прошел в сквер, бросив завистливый взгляд в окно Cheval Blanc, где в ярко освещенной комнате, покрытой белым лаком и позолотой, играли на бильярде офицеры, а за стойкой надменно восседала белокурая девица в малиновой блузе. Он вспомнил военного полицейского и бессознательно ускорил шаги. В узкой улице по другую сторону сквера он остановился перед окном маленькой мелочной лавочки, тщательно избегая продолговатого пятна света, слабо освещавшего поросший травой булыжник и зелено-серые стены на другой стороне улицы. Внутри, за прилавком, сидела девушка с вязаньем, скромно поставив свои маленькие черные ножки рядышком на край ящика, полного красной свеклы. Она была очень мила и стройна. Лампа освещала гладко причесанные черные волосы. Лицо ее оставалось в тени. Несколько солдат стояли, неуклюже прислонившись к прилавку и косяку двери, и следили взглядом за каждым ее движением, как собаки следят за блюдом с мясом, которое передвигают на кухне.

Немного погодя девушка сложила свое вязанье и вскочила на ноги; она показала свое лицо – овальное белое личико с длинными темными ресницами и вызывающим ртом. Она постояла немного, глядя на солдат, толпившихся вокруг нее, затем скривила рот в гримасу и исчезла во внутренней комнате.

Фюзелли дошел до конца улицы, где был мост через маленькую речку. Он нагнулся над холодными каменными перилами и посмотрел на булькавшую между полыньями во льду воду, которую едва можно было разглядеть.

– Проклятая жизнь! – пробормотал он, вздрагивая от холодного ветра, но остался на месте, наклонившись над водой.

Вдали беспрерывно грохотали поезда, вызывая в нем представление об огромных унылых расстояниях. Часы на станции пробили восемь. В их бое звучала мягкая нота, похожая на басовую струну гитары. В темноте Фюзелли казалось, что он видит перед собой лицо девушки, гримасничающей своими полными вызывающими губами. Он подумал о темных бараках и людях, уныло сидящих у изголовья своих коек. Черт, он не в состоянии вернуться сейчас обратно! Все существо его жадно стремилось к нежности, теплоте и покою. Он поплелся обратно по узкой улице, злобно и монотонно ругаясь. Перед мелочной лавкой он остановился. Солдат уже не было. Он вошел, лихо сдвинув свою фуражку немного на сторону, так что выющаяся прядь густых белокурых волос упала ему на лоб. Маленький колокольчик зазвонил в дверях.

Девушка вышла из внутренней комнаты и равнодушно подала ему руку.

– Как поживаете, Ивонна? Хорошо?

Его ломаный французский язык заставил ее показать в улыбке свои маленькие жемчужные зубки.

– Хорошо, – ответила она по-английски. Они расхохотались, как дети.

– Послушайте, хотите быть моей милой, Ивонна? Она посмотрела ему в глаза и рассмеялась.

– Non compris, – сказала она.

– Yes, yes, хотите быть мой девушка?

Она вскрикнула, смеясь, и сильно хлопнула его по щеке.

– Venez! – сказала она, смеясь.

Он пошел за ней. Во внутренней комнате стоял большой дубовый стол, окруженный стульями. На конце его сидели Эйзенштейн и французский солдат, оживленно беседовавшие о

чем-то. Они были так увлечены разговором, что не заметили, как в комнату вошел Фюзелли с девушкой. Ивонна взяла французского солдата за волосы, оттянула его голову назад и повторила ему, все еще смеясь, то, что сказал Фюзелли. Он засмеялся.

– Вы не должны так говорить, – сказал он по-английски, обращаясь к Фюзелли.

Фюзелли надулся и мрачно уселся на другом конце стола, не спуская глаз с Ивонны. Она вытащила из кармана своего передника вязанье и, забавно держа его между двумя пальцами, бросила взгляд на темный конец комнаты, где в кресле дремала старушка, с кружевным чепчиком на голове. Потом она, дурачась, упала на стул.

– Бум! – сказала она.

Фюзелли смеялся до тех пор, пока на глазах его не выступили слезы. Она рассмеялась тоже. Они довольно долго сидели, поглядывая друг на друга и хихикая, в то время как Эйзенштейн и француз продолжали разговаривать. Вдруг Фюзелли уловил фразу, которая поразила его.

– Что бы вы, американцы, стали делать, если бы во Франции вспыхнула революция?

– Мы сделали бы то, что нам приказали бы, – ответил Эйзенштейн с горечью. – Мы рабы.

Фюзелли заметил, что обычно желтое, опухшее лицо Эйзенштейна теперь покраснело, а в глазах появился блеск, которого он никогда не замечал у него раньше.

– Как это революция? – спросил Фюзелли, сбитый с толку.

Француз испытующе перевел на него свои черные глаза.

– Я хочу сказать: прекращение бойни – свержение капиталистического правительства, социальная революция...

– Но ведь у вас же республика! Разве нет?

– Такая же, как и у вас.

– Вы рассуждаете как социалист, – сказал Фюзелли. – Я слышал, что в Америке за такие разговоры расстреливают.

– Видите, – сказал Эйзенштейн француз.

– Все они такие.

– За исключением очень немногих. Это безнадежно, – сказал Эйзенштейн, закрывая лицо руками. – Я часто думаю о том, чтобы застрелиться.

– Уж лучше застрелите кого-нибудь другого, – сказал француз, – это будет полезнее.

Фюзелли беспокойно ерзал на стуле.

– И с чего вы все это выдумали, ребята? – спросил он. Про себя он подумал: «Еврей и лягушатник, нечего сказать – теплая компания».

Его глаза поймали взгляд Ивонны, и они оба расхохотались. Ивонна перебросила ему свой клубок. Он покатился вниз под стол, и они начали ползать кругом и искать его под стульями.

– Два раза мне казалось, что это должно произойти, – сказал француз.

– Когда это?

– Да вот недавно одна дивизия двинулась на Париж... И когда я был в Вердене... О, революция будет! Франция – страна революций.

– Мы всегда будем тут, чтобы подавить ее, – сказал Эйзенштейн.

– Подождите, пусть ваши ребята повоюют немного. Одна зима в траншеях подготовит к революции любую армию.

– Но у нас нет возможности узнать правду. А дисциплина превращает человека в животное, в колесо механизма. Не забывайте, что вы свободнее нас. Мы хуже русских.

– Это удивительно... Но должна же у вас быть какая-то сознательность, привитая цивилизацией. Я всегда слышал, что американцы свободолюбивы и независимы. Неужели они без конца позволяют таскать себя на убой?

– О, не знаю! – Эйзенштейн поднялся на ноги. – Пора уже в бараки. Идешь, Фюзелли? – сказал он.

– Конечно, – равнодушно ответил Фюзелли, не вставая со стула.

Эйзенштейн и француз вышли в лавку.

– Бон суар, – сказал Фюзелли нежно, перегибаясь через стол. – Ну, девчурка?

Он лег животом на широкий стол, обнял ее за шею и поцеловал, чувствуя, что все вокруг темнеет в пламени желания. Она спокойно оттолкнула его крепкими маленькими ручками.

– Будет, – сказала она и кивнула головой в сторону старушки, спавшей в кресле в темном углу комнаты. Они стояли, прислушиваясь к ее легкому свистящему храпу.

Он обнял ее и долго целовал в губы.

– Завтра, – сказал он. Она кивнула головой.

Фюзелли быстро зашагал по темной улице к лагерю. Кровь радостно стучала в его жилах. Он нагнал Эйзенштейна.

– Послушай-ка, Эйзенштейн, – сказал он дружеским тоном, – не думаю, чтобы тебе следовало всюду болтать таким образом. Ты можешь этак засыпаться в один прекрасный день.

– Мне все равно.

– Но, черт побери, не собираешься же ты в самом деле лезть в петлю? Они расстреливают ребят и не за такие штуки.

– Пусть.

– Господи Иисусе, ну можно ли строить из себя такого дурака! – возразил Фюзелли.

– Сколько тебе лет, Фюзелли?

– Мне уже двадцать.

– А мне уже тридцать. Я больше жил, дружище, и знаю, что хорошо и что плохо. Эта бойня угнетает меня.

– Господи, я понимаю. Это дьявольская каша. Но кто же заварил ее? Вот если бы кто-нибудь пристрелил этого кайзера...

Эйзенштейн горько рассмеялся. Фюзелли немного замешкался у входа в лагерь, следя за тем, как маленькая фигурка Эйзенштейна исчезала в темноте своей забавной ковыляющей походкой.

«Нужно быть впредь чертовски осторожным и поглядывать, когда идешь с ним в бараки. Этот проклятый жид, может быть, немецкий шпион или офицер секретной службы». Холодная дрожь ужаса пробежала по Фюзелли, рассеивая радостное чувство довольства собой. Его ноги шлепали по лужам и проваливались сквозь тонкий лед, когда он шел по дороге в барак. Ему казалось в темноте, будто за ним отовсюду следят, будто какая-то гигантская фигура ведет его вперед сквозь мрак, держа над ним кулак, готовый каждую минуту разможить ему голову.

Завернувшись в свои одеяла на койке рядом с Билли Греем, он прошептал:

– Знаешь, Билл, я, кажется, нашел себе девочку в городе.

– Кого?

– Ивонну. Не говори никому. Билли Грей слегка свистнул.

– Ты высоко летаешь, Дэн. Фюзелли фыркнул.

– Черт возьми, дружище, лучшие из них для меня еще недостаточно хороши.

– Ну а я собираюсь покинуть тебя, – сказал Билли Грей.

– Когда?

– Скоро, черт побери! Я не в силах выносить эту жизнь. Не понимаю, как ты можешь!

Фюзелли не ответил. Он тепло укрылся одеялом, думая об Ивонне и капральстве.

Фюзелли рассматривал свой пропуск при свете единственной мигающей лампы, отбрасывавшей на станционную платформу колеблющийся красноватый круг. От утренней зори 4 февраля до утренней зори 5-го он был свободным человеком. Его глаза чесались от сна, когда он прогуливался взад и вперед по холодной платформе. Целых двадцать четыре часа ему не

придется выслушивать ничьих приказаний. Несмотря на скучную перспективу езды в поезде по чужой стороне в такую ночь, Фюзелли был счастлив. Он позвякивал в кармане деньгами.

На полотне вдаль, быстро приближаясь, появился красный глаз. Он мог расслышать уже тяжелое все нарастающее пыхтение паровоза. Яркое пламя блеснуло ему в глаза, когда паровоз с ревом медленно прополз мимо него. Человек с голыми руками, черными от угольной пыли, высунулся из кочегарки, освещенный сзади желтовато-красным пламенем. Теперь мимо проходили вагоны: платформы с пушками, обмотанными, точно морды у охотничьих собак, товарные вагоны, из которых тут и там просовывались человеческие головы. Поезд почти остановился. Вагоны стучали, наталкиваясь друг на друга. Глаза Фюзелли встретились с парой глаз, блестевших в свете ламп. Чья-то рука протянулась к нему.

– До свиданья, дружище, – сказал мальчишеский голос. – Я не знаю, черт побери, кто ты. Ну, все равно. До свиданья!

– До свиданья, – пробормотал Фюзелли. – На фронт?

– Правильно, черт возьми! – ответил другой голос. Поезд снова начал набирать скорость. Стук вагонов друг о друга прекратился, и через мгновение они быстро покатались перед глазами Фюзелли. На станции снова стало темно и пусто. Фюзелли следил за тем, как красный огонь делался все меньше и бледнее, по мере того как поезд с грохотом исчезал в темноте.

Золотистые, зеленые и алые шелка и сложные рисунки переплетающихся розовых тел купидонов беспорядочно смешивались в мозгу Фюзелли, когда он спустился, полный восторженного удивления, по лестнице дворца и вышел на улицу, освещенную слабым румянцем вечерающего дня. Несколько имен и— названий – Наполеон, Жозефина, Империя, – которые никогда прежде не занимали места в его воображении, загорелись теперь великолепным царственным блеском, точно живая картина в театре.

– И денег же у них было, видно, пропасть, – сказал бывший с ним солдат-летчик. – Пойдем-ка выпьем.

Фюзелли молчал, погруженный в свои мысли. Он чувствовал здесь что-то, дополнявшее его грезы о богатстве и славе, которыми он любил делиться с Элом, сидя в гавани Сан-Франциско и следя за большими, залитыми огнями парходами, проходившими через Золотые Ворота.

– Не очень-то они стеснялись насчет того, чтобы рисовать кругом голых женщин, не правда ли? – сказал летчик, угрюмый маленький человек, у которого скверно пахло изо рта.

– Ты осуждаешь их?

– Нет, не то, что осуждаю... Но думаю, что они были все-таки здорово безнравственные, эти типы, – продолжал он неуверенно.

Они бродили по улицам Фонтенбло, рассеянно заглядывая в окна магазинов, пяля глаза на женщин и присаживаясь на скамьях в парке, где сквозь кружево веток, багряных, алых и желтых, отбрасывавших сложные зеленовато-серые тени на асфальт, пробивался бледный солнечный свет.

– Пойдем-ка опрокинем еще, – сказал летчик.

Фюзелли посмотрел на часы: до поезда оставалась еще бездна времени. Девушка в распущенной грязной блузе вытерла стол.

– Vin blanc, – сказал летчик.

– Мэм шоуз, – сказал Фюзелли.

Голова его была полна золотой и зеленой лепки, шелка, алого бархата и сложных картин, на которых непристойно извивались голые розовые тела купидонов. Когда-нибудь, говорил он себе, он наколотит чертовскую кучу денег и поселится в таком же доме с Мэб... нет, с Ивонной или с какой-нибудь другой девочкой.

– Да, уж эти типы здорово, должно быть, были безнравственны! – повторил летчик, искоса поглядывая на девицу в грязной блузе.

Фюзелли вспомнил пир из «Quo vadis», который он видел в кинематографе, – людей, танцующих в купальных халатах с большими чашками в руках, и перевернутые столы с яствами.

– Коньяк! Боку! – сказал летчик.

– Мэм шоуз, – сказал Фюзелли.

Кафе наполнилось зеленым и золотистым шелком и огромными парчовыми кроватями с тяжелой резьбой наверху, – кроватями, в которых извивались розовые и соблазнительные тела купидонов.

Кто-то произнес:

– Хелло, Фюзелли!

Он был в поезде; в ушах у него гудело, а голову стягивал железный обруч. В вагоне, освещенном маленькой лампочкой, мигавшей на потолке, было темно. На минуту он принял мерцавший вверху свет за золотую рыбку в чаше.

– Хелло, Фюзелли, – сказал Эйзенштейн, – здоров?

– Конечно, – сказал Фюзелли осипшим голосом, – почему же мне быть больным?

– Как тебе понравился дворец? – спросил Эйзенштейн серьезно.

– Черт, не знаю, – пробормотал Фюзелли, – я спать хочу.

Все смешалось в его голове. Ему чудились огромные залы, полные зеленого и золотого шелка, и огромные постели с коронами наверху, где спали Наполеон и Жозефина. Кто они были? Ах да, Империя! Потом там были изображения цветов, фруктов и купидонов, золоченые и темные коридоры и лестница, пахнувшая плесенью, где они с летчиком растянулись. Он еще помнил ощущение, когда нос его проехал по жесткому красному плюшевому ковру лестницы. Потом там были женщины в открытых платьях... или это были картины на стенах? И еще там была постель, вся окруженная зеркалами. Он открыл глаза. Эйзенштейн говорил с ним. Он, должно быть, уже давно обращался к нему.

– Я так смотрю на это, – говорил он. – Каждому молодцу необходимо встряхнуться иногда, чтобы быть здоровым. А если он воздержан и осторожен...

Фюзелли заснул. Он снова проснулся и вспомнил вдруг: нужно будет непременно достать эту маленькую синюю книжечку – военные уставы. Не мешает познакомиться с ними на всякий случай. Капрала отправили в госпиталь. У него туберкулез, как сказал сержант Оскер. Им, во всяком случае, придется назначить заместителя. Он устал на маленькую мигающую лампочку на потолке.

– Как тебе удалось получить отпуск? – спрашивал Эйзенштейн.

О, мне это устроил сержант, – ответил Фюзелли с таинственным видом.

– Ты, кажется, очень хорош с ним? – сказал Эйзенштейн.

Фюзелли снисходительно улыбнулся.

– Скажи-ка, ты знаешь этого малого, Стоктона?

– Белолицего маленького парнишку, который писарем на другом конце барakov?

– Он самый, – сказал Эйзенштейн. – Я хотел бы чем-нибудь помочь этому малому. Он просто не в состоянии вынести дисциплины. Нужно тебе видеть, как он дрожит, когда тамошний рыжий сержант орет на него. Малый чахнет день ото дня.

– Что ж, у него хорошая, легкая работа: писарь, – сказал Фюзелли.

– Ты думаешь, легкая? Я проработал двенадцать часов позавчера, составляя донесения! – сказал с негодованием Эйзенштейн. – Они прямо верхом ездят на малом. Просто смотреть тяжело. Ему нужно быть дома, в школе.

– Что ж, приходится и лекарство принимать, – сказал Фюзелли.

– Подожди, подожди, вот когда тебя сгноят в траншеях, посмотрим, как тебе понравится лекарство, – сказал Эйзенштейн.

– Дурак проклятый, – проворчал Фюзелли, настраиваясь на новый сон.

Зоря вытащила Фюзелли полумертвым от сна.

– Знаешь, Билли, не могу понять, что у меня в голове.

Ответа не было. Только тут он заметил, что соседняя койка пуста. Одежда была аккуратно сложена в ногах. Внезапный страх охватил его. Он не может обойтись без Билли Грея, говорил он себе. С кем же он будет гулять теперь? Он пристально смотрел на пустую койку.

– Смирно!

Рота выстроилась в темноте. Ноги солдат тонули в грязных рытвинах дороги. Лейтенант вышагивал взад-вперед перед ними с оттопырившейся сзади нижней полкой походной шинели. У него был карманный электрический фонарик, который он то и дело направлял на сухие стволы деревьев, на лица солдат, себе, под ноги, в лужи на дороге.

– Если кому-нибудь из вас известно местопребывание рядового первого разряда Вильяма Грея, потрудитесь немедленно донести, так как иначе нам придется признать его дезертиром. Вы знаете, что это значит?

Лейтенант говорил короткими, резкими фразами, отрубая, точно топором, концы слов. Все молчали.

– Мне нужно еще кое-что объявить вам, ребята, – сказал лейтенант уже естественным голосом. – Я назначаю Фюзелли, рядового первого разряда, исполняющим должность капрала.

Колени Фюзелли ослабели. Он готов был кричать и танцевать от радости. Он был рад, что в темноте никто не мог заметить, как он возбужден.

– Рота, вольно! – весело прокричал сержант.

Разбившись на группы и взволнованно обсуждая охрипшим голосом события, люди побрели через грязные лужи к кухонному барaku.

IV

Ивонна перевернула омлет, подбросив его в воздух. Он, шипя, снова упал на сковородку, и она вышла вперед к свету, держа сковородку перед собой. За ней была темная плита, над которой сквозь синеватую мглу поблескивал ряд медных кастрюль. Ивонна переложила омлет со сковородки на белое блюдо, стоявшее посередине стола прямо под желтым светом лампы.

– Tiens, – сказала она, отбрасывая со лба несколько отделившихся волосков тыльной стороной руки.

– Вы мастерица стряпать, – сказал Фюзелли, поднимаясь на ноги. Он сидел, развалившись в кресле, на другом конце кухни и следил, как стройная фигурка Ивонны, в обтягивающем черном платье и синем переднике, то входила, то выходила из полосы света, приготовляя обед. В кухне носился запах поджаренного масла с легким привкусом перца; от этого запаха рот Фюзелли наполнялся слюной.

– Вот это хорошо, – говорил он себе, – как дома.

Он встал и, глубоко засунув руки в карманы и откинув голову, смотрел, как она режет хлеб, прижимая буханку к груди и двигая ножом по направлению к себе. Она отряхнула с платья несколько крошек тонкой белой рукой.

– Ты моя девочка, Ивонна, не правда ли? – Фюзелли обнял ее.

– Sale bete! – сказала она, смеясь и отталкивая его.

Снаружи раздались быстрые шаги, и в кухню вошла другая девушка, тоненькая, желтолицая, с острым носом и длинными зубами.

– Моя кузина... Мой маленький американец.

Девушки рассмеялись. Фюзелли покраснел, пожимая руку девушки.

– Хорош, а? – сказала грубовато Ивонна.

– Но он чудесный, твой американец.

Они снова рассмеялись. Фюзелли, который не понял из их разговора ни слова, рассмеялся тоже, думая про себя: «Если они скоро не усядутся, обед остынет».

– Приведите татап, Дэн, – сказала Ивонна.

Фюзелли вошел в лавку, пройдя через комнату с длинным дубовым столом. При тусклом свете, проникавшем из кухни, он увидел белый чепец старухи. Лицо ее было в тени, но в маленьких похожих на бусинки глазах светился слабый огонек.

– Ужинать, мадам! – закричал он.

Старушка поплелась за ним, ворча своим тоненьким, скрипучим голоском.

Пар, позолоченный светом лампы, столбами поднимался к потолку над большой миской супа.

Стол был накрыт белой скатертью, а на краю его лежала буханка хлеба. Тарелки с бордюром из маленьких розочек представлялись Фюзелли после армейских котелков самыми прекрасными предметами, какие ему приходилось видеть когда-либо в жизни. Бутылка с вином казалась черной рядом с суповой миской, а вино в стаканах отбрасывало темные пурпуровые пятна на скатерть.

Фюзелли молча ел свой суп; он очень мало понимал по-французски, на котором обе девушки тараторили между собой. Старушка говорила мало, а если ей и случалось вставить слово, какая-нибудь из девушек торопливо бросала ей в ответ замечание, почти не прерывавшее их болтовни.

Фюзелли думал о других солдатах, выстроившихся перед темными кухонными бараками, и представлял себе звук, который производило месиво, шлепаясь в котелки. В голове его мелькнула мысль, что недурно будет привести сюда сержанта и познакомить его с Ивонной. Они могли бы угостить его обедом. «Это поможет мне быть с ним в ладах...» На минуту он забеспокоился насчет капральства: он исполнял должность капрала, но не был еще утвержден в чине.

Омлет таял во рту.

– Чертовски bon, – сказал он Ивонне с полным ртом.

Она пристально посмотрела на него.

– Bon, bon, – сказал он опять.

– Вы сами, Дэн, bon, – сказала она и засмеялась.

Кузина завистливо переводила глаза с одного на другого; ее верхняя губа поднялась в улыбке над зубами. Старушка молчаливо и озабоченно пережевывала свой хлеб.

– Там кто-то есть, в лавке, – сказал Фюзелли после долгой паузы. – Же ире. – Он отложил свою салфетку и вышел, вытирая рот рукой. В лавке были Эйзенштейн и юноша с белым как мел лицом.

– Хелло! Ты что, хозяйство ведешь здесь? – спросил Эйзенштейн.

– Как видишь, – ответил Фюзелли натянуто.

– Есть у вас шоколад? – спросил юноша с бледным лицом тоненьким, бескровным голосом.

Фюзелли поискал на полках и бросил на прилавок плитку шоколада.

– Еще чего-нибудь?

– Ничего, спасибо, капрал. Сколько с меня?

Фюзелли, насвистывая, прошел обратно во внутреннюю комнату.

– Сколько шоколад? – спросил он.

Получив деньги, он уселся на свое место за столом, важно улыбаясь. Он должен обо всем написать Элу, решил он, и задумался над тем, мобилизован ли уже Эл.

После обеда женщины долго сидели, болтая за своим кофе, в то время как Фюзелли беспокойно ерзал на стуле, то и дело поглядывая на часы. У него был отпуск до двенадцати. Время подходило уже к десяти. Он старался поймать взгляд Ивонны, но она ходила по кухне, приводя все в порядок на ночь, и, казалось, едва замечала его присутствие. Наконец старушка поплелась в лавку, и оттуда донесся звук ключа, с трудом поворачивающегося в замке наружной двери. Когда она вернулась, Фюзелли пожелал всем спокойной ночи и вышел через заднюю дверь на

двор. Там он с надутым видом прислонился к стене и стал ждать в темноте, прислушиваясь к звукам, доносившимся из дома. Он видел тени, пересекавшие оранжевый четырехугольник света, который окно отбрасывало на булыжник двора. В верхнем окне появился свет, слабо освещая неровные черепицы крыши противоположного сарая. Дверь отворилась, и Ивонна со своей кухней остановились, болтая, на широком каменном пороге. Фюзелли притаился за большой бочкой, приятно пахнувшей старым деревом, пропитанным кислым вином. Наконец головы теней на булыжниках на минуту соединились, и кухня, стуча каблуками по двору, вышла на пустую улицу. Ее быстрые шаги замерли вдали. Тень Ивонны все еще оставалась в дверях.

– Дэн! – позвала она нежно.

Фюзелли вышел из-за бочки. Все его тело горело от восторга. Ивонна показала на его сапоги. Он снял их и оставил за дверью. Он посмотрел на часы. Было четверть одиннадцатого.

– Viens, – сказала она.

Он пошел за ней; колени его дрожали от возбуждения, когда он поднимался по крутым ступенькам.

Городские часы только что начали отбивать полночь глухим надтреснутым звоном, когда Фюзелли торопливо прошел через ворота лагеря. Он весело протянул свой пропуск караульному и зашагал по направлению к барaku. В длинном бараке было совершенно темно. Повсюду слышалось глубокое дыхание, кое-где храп. В воздухе стоял густой запах суконного платья, на котором высох пот. Фюзелли разделся не торопясь, сладостно вытягивая руки. Он завернулся в одеяло и заснул с улыбкой самодовольства на губах.

Роты, выстроенные для вечерней зори, стояли, вытянувшись неподвижно перед своими бараками, точно ряды оловянных солдатиков. Вечер был почти теплый. Легкий, игривый, пахнущий весной ветерок играл набухшими почками платанов. Небо было темно-сиреневое, и кровь обжигала и жалила, пробегая по онемевшим конечностям вытянувшихся во фронт солдат. Голоса сержантов особенно резко и звонко раздавались в этот вечер. Шли слухи, что ожидается генерал. Команды выкрикивались с остервенением.

Фюзелли стоял с краю своей роты, до такой степени выпятив грудь, что пуговицам его куртки грозила серьезная опасность отлететь. Сапоги его блестели на славу, а новая пара обмоток до боли туго сжимала ноги.

Наконец по затихшему лагерю пронесся звук трубы.

– Вольно! – закричал сержант.

Голова Фюзелли была полна воинским уставом, который он усердно изучал последнюю неделю. Он представлял себе воображаемый экзамен на капральство, который он, конечно, выдержит блестяще.

После команды он развязно подошел к сержанту.

– Послушайте, сержант, что вы делаете вечером?

– Что, черт возьми, может делать человек, когда у него ни шиша? – сказал старший сержант.

– Ну так мы отправимся с вами в город. Я хочу познакомить вас кое с кем.

– Идет.

– Скажите, сержант, отправили они уже представление на производство?

– Нет еще, Фюзелли, – сказал сержант. – Но это все уже улажено, – прибавил он многообещающим тоном.

Они направились молча к городу. Вечер был серебристо-сиреневый. Редкие освещенные окна в старых серо-зеленых домах горели оранжевыми пятнами.

– Значит, я буду утвержден, так, что ли?

Штабной автомобиль промчался мимо, обрызгав их грязью. Они успели мельком разглядеть фигуры офицеров, откинувшихся на глубокие подушки.

– Будьте спокойны, – сказал сержант добродушно.

Они дошли до сквера, и оба вытянулись во фронт, когда два офицера задели их, проходя мимо.

– Какие правила существуют на тот случай, если кто-нибудь из ребят захочет жениться на французенке? – неожиданно спросил Фюзелли.

– Вы что же, собираетесь окрутиться?

– Нет, черт возьми. – Фюзелли сделался малиновым. – Я хотел только... того... узнать.

– Разрешение от штаба – вот все, что я знаю.

Они остановились перед мелочной лавкой. Фюзелли заглянул в окно. Лавка была полна солдат, слонявшихся вокруг прилавка и жавшихся около стен. Посреди них с неприступным видом вязала Ивонна.

– Пойдем выпьем, а потом вернемся назад, – предложил Фюзелли.

Они отправились в кафе, где царила Мари с белыми Руками. Фюзелли заплатил за два горячих ромовых пунша. Видите ли, дело обстоит так, сержант, – сказал он конфиденциально. – Я написал своим домашним, что произведен в капралы, и будет чертовски неприятно, если меня опять понизят.

Старший сержант маленькими глотками пил свой горячий напиток. Он широко улыбнулся и по-отечески положил руку на колено Фюзелли.

– Право, вам нечего беспокоиться, дружище. Я все наладил относительно вас как нельзя лучше, – сказал он. Затем весело прибавил: – Ну а теперь пойдем-ка посмотрим на вашу девочку.

Они вышли на темную улицу, где в ветре, несмотря на запах бензина и лагерей, уже чувствовалась какая-то сладость, напоминавшая запах грибов, – аромат весны.

Ивонна сидела в лавке под лампой, поставив ноги на ящик с консервами, и уныло зевала. Позади нее на прилавке стоял стеклянный ящик, полный желтых и зеленовато-белых сыров. Над прилавком в коричневатой полутьме лавки до потолка тянулись полки, на которых слабо поблескивали аккуратно выстроенные рядами большие и маленькие банки консервов. В углу, около стеклянной завешенной двери, которая вела во внутренние комнаты, висели гроздь колбас, больших и маленьких, красных, желтых и пестрых Ивонна вскочила, когда Фюзелли и сержант открыли дверь.

– Как хорошо, что вы пришли, – сказала она. – Я умирала от скуки.

– Это сержант, Ивонна, – сказал Фюзелли.

– Oui, oui, je sais, – сказала Ивонна, улыбаясь старшему сержанту.

Они уселись в маленькой комнате за лавкой, потягивая вино, и принялись как умели болтать с Ивонной, очень мило выглядевшей в своем черном платье и голубом переднике. Она сидела на краешке стула, крепко прижав одну к другой свои тонкие ножки в тонких башмаках и поглядывая время от времени на сложные вышивки на рукаве старшего сержанта.

Фюзелли развязно прошел, насвистывая, через мелочную лавку и открыл настежь дверь во внутреннюю комнату. Его свист оборвался на середине такта.

– Хелло! – сказал он раздосадованным голосом.

– Хелло, капрал! – сказал Эйзенштейн.

Эйзенштейн, его приятель – французский солдат, тощий человек с редкой черной бородкой и горящими черными глазами, – и Стоктон, юноша с белым как мел лицом, сидели за столом, дружески и весело беседуя с Ивонной, которая стояла, прислонившись к желтой стене около француза, и показывала, смеясь, все свои маленькие жемчужные зубки. Посреди загромождавшего комнату темного дубового стола стоял горшок гиацинтов и несколько стаканов, в которых, по-видимому, побывало вино. Запах гиацинтов висел в воздухе, смешиваясь с еле уловимым, теплым запахом кухни.

После минутного колебания Фюзелли уселся ждать, пока остальные не разойдутся. После выдачи жалованья прошло уже много времени и карманы его были пусты, поэтому он не мог никуда отправиться.

– Как они обращаются с тобой теперь? – спросил Эйзенштейн у Стоктона после паузы.

– Как всегда, – сказал Стоктон своим тоненьким голоском, слегка запинаясь, – иногда я хотел бы быть уже мертвым.

– Гм, – сказал Эйзенштейн со странным сочувственным выражением на лице. – Когда-нибудь мы снова сделаемся штатскими.

– Я – нет, – сказал Стоктон.

– Черт, – сказал Эйзенштейн, – тебе нужно взять себя в руки, Стоктон. Мне тоже казалось, что я умираю, когда нас перевозили сюда на этом транспорте. А когда я был еще совсем маленьким и переезжал с эмигрантами из Польши, я тоже был уверен, что умираю. Человек может вытерпеть гораздо больше, чем воображает... Я никогда не думал, что смогу вынести существование в армии, это рабство и все остальное, а вот живу же. Нет, ты проживешь долго и будешь еще счастлив. – Он положил руку на плечо Стоктона.

Юноша вздрогнул и отодвинул свой стул.

– Зачем ты это? Я не собираюсь обижать тебя, – сказал Эйзенштейн.

Фюзелли с презрительным любопытством следил за обоими.

– Я посоветую тебе кое-что, приятель, – сказал он снисходительно. – Переводись-ка в нашу роту. Наша рота первый сорт, ей-ей! Не правда ли, Эйзенштейн? У нас симпатичный лейтенант, симпатичный старший и чертовски симпатичные ребята.

– Наш старший только что был здесь, – сказал Эйзенштейн.

– «Здесь»? – переспросил Фюзелли. – Куда же он пошел?

– Почем я знаю, черт побери!

Ивонна и французский солдат тихо разговаривали между собой, по временам слегка посмеиваясь. Фюзелли откинулся в своем кресле и смотрел на них, смутно догадываясь о чем-то. В эту минуту он страстно желал бы знать по-французски настолько, чтобы понять, о чем они говорят. Он сердито шаркал по полу ногами. Глаза его остановились на белых гиацинтах. Они напомнили ему окна цветочных магазинов в пасхальное время, шум и толкотню на улицах Сан-Франциско.

– Господи, до чего мне опротивела эта гнилая дыра, – пробормотал он. Он подумал о Мэб и причмокнул губами. Черт возьми, она была бы теперь уже замужем. Если бы только он мог заполучить Ивонну для себя одного; жить с ней где-нибудь далеко, в стороне от людей, от ее старой матери и от этого проклятого лягушатника. Он представил себе, как он отправляется с Ивонной в театр. Когда он будет сержантом, он сможет позволять себе такого рода вещи. Он сосчитал месяцы. Стоял март. Вот уже пять месяцев, как он в Европе, и он все еще не больше, как капрал, да и то не совсем. Он сжал кулаки от нетерпения. – Только бы получить капрала, а там уж дело пойдет быстрее, – сказал он себе успокаивающе. Он перегнулся через стол и громко потянул носом запах гиацинтов. – Хорошо пахнут, – сказал он. – Что вы сказали, Ивонна?

Ивонна посмотрела на него, как будто успела забыть, что он находится в комнате. Глаза ее смотрели прямо в его зрачки; вдруг она расхохоталась. Этот взгляд согрел Фюзелли до глубины. Он снова отодвинулся на своем стуле с приятным чувством собственника, любуясь ее стройным телом, так мило вырисовывавшимся в черном платье, и маленькой головкой с гладко причесанными волосами.

– Ивонна, пойдите сюда, – сказал он, делая знак головой.

Она вызывающе перевела глаза с него на француза, затем подошла и остановилась за ним.

– Что вы хотите?

Фюзелли взглянул на Эйзенштейна. Он и Стоктон снова углубились в оживленную беседу с французом, Фюзелли слышал неприятное слово «революция», которое всегда действовало на него раздражающе – он сам не знал почему.

– Ивонна, – сказал он так, что только она одна могла его слышать, – что бы вы сказали, если бы мы с вами поженились?

– Поженились... я и ты? – спросила Ивонна, пораженная.

– Уй! Уй!

Она минуту смотрела ему в глаза, затем откинула назад голову в припадке истерического смеха.

Фюзелли побагровел, вскочил на ноги и вышел, с такой силой захлопнув за собою дверь, что стекла зазвенели. Он торопливо зашагал обратно в лагерь. По главной улице медленно пыхла, обдавая его грязью, длинная вереница серых грузовиков. У каждого из них впереди был прикреплен желтый газовый фонарь, слабо освещавший заднюю стенку переднего грузовика. Фюзелли уселся за конторку сержанта и начал сердито переворачивать страницы маленькой голубой книжки воинского устава.

Луна отражалась в фонтане на конце главного сквера города. Была теплая темная ночь; луна бледно сияла сквозь легкие облака, точно просвечивая через тонкий шелковый занавес.

Фюзелли стоял у фонтана с папиросой в зубах и не отрывался от желтых окон Cheval Blanc на другом конце сквера, откуда доносились звуки голосов и щелканье бильярдных шаров.

Он стоял спокойно, выпуская едкий дым папиросы через ноздри; в ушах его раздавался серебристый плеск воды в фонтане. В ветерке, порывисто дувшем с запада, чередовались маленькие струйки теплого и свежего воздуха. Фюзелли ждал. Время от времени он вынимал часы и напрягал зрение, чтобы что-нибудь увидеть, но темнота мешала разглядеть время. Наконец раздался низкий надтреснутый звон колокола на церковной башне: пробило один раз. Должно быть, была половина десятого.

Он медленно пошел по направлению к улице, где помещалась мелочная лавка Ивонны. Слабый свет луны озарял серые дома, закрытые ставнями окна и беспорядочные красные крыши с множеством маленьких слуховых и чердачных окон. Фюзелли чувствовал в себе восхитительное довольство окружающим миром. Он почти осязал тело Ивонны в своих объятиях и улыбался, вспоминая гримаски, которые она ему делала. Он крадучись прошел мимо закрытого ставнями окна лавки и нырнул в темноту под арку, которая вела во двор. Он шел осторожно, на цыпочках, держась близко к поросшей мхом стене, потому что слышал во дворе голоса. Он заглянул за угол дома и увидел несколько человек, которые стояли разговаривая на пороге кухни. Он отдернул голову обратно в темноту. За кухонной дверью он успел заметить темную круглую форму бочки. Если бы только ему удалось проскользнуть за нее, как делал это обыкновенно, он мог бы подождать там, пока люди не разойдутся.

Тщательно придерживаясь тени вдоль забора, окружавшего двор, он проскользнул на другую сторону и готовился уже броситься за бочку, как вдруг заметил, что там уже кто-то есть.

Он задержал дыхание и замер с сильно бьющимся сердцем. Фигура обернулась, и в темноте он узнал круглое лицо старшего сержанта.

– Не можете ли вы потише? – ворчливо прошептал старший сержант.

Фюзелли стоял тихо, сжав кулаки. Кровь горячей волной стучала так сильно в его голове, что череп звенел.

«Все-таки старший сержант – это старший сержант, – мелькнула у него мысль. – Никак нельзя с ним ссориться».

Ноги Фюзелли механически отвели его назад в угол двора, где он прислонился к сырой стене, глядя горящими глазами на двух женщин, болтавших перед кухней, и на темную тень за бочкой. Наконец после нескольких скучных поцелуев женщины разошлись, и двери кухни закрылись. Колокол на церковной башне пробил одиннадцать медленным погребальным зво-

ном. Когда часы кончили бить, Фюзелли услышал осторожный стук и увидел у дверей тень старшего сержанта. Сержант проскользнул внутрь, и Фюзелли услышал его добродушный голос, говоривший громким театральным шепотом, и придушенный смех Ивонны. Дверь закрылась, и свет погас, погружая двор в темноту. Только в небе теплилось бледное перламутровое сияние.

Фюзелли вышел, стараясь как можно громче стучать каблуками по камням. Улицы города», озаренные бледной луной, были безмолвны. В сквере звонко и отчетливо бил фонтан. Фюзелли отдал свой пропуск часовому и угрюмо направился в бараки. У дверей он встретил человека с ранцем на спине.

– Хелло, Фюзелли, – сказал знакомый голос, – что, моя старая койка еще здесь?

– Почему я знаю, черт возьми, – сказал Фюзелли, – я думал, что они отправили вас домой.

Капрал разразился приступом кашля.

– Кой черт, – сказал он. – Они морили меня в этом проклятом госпитале, пока не убедились, что я еще не так-то скоро собираюсь умирать; а тогда они приказали мне вернуться к своей части. Вот я и тут.

– Они не отставили вас? – с внезапной горячностью спросил Фюзелли.

– Черт возьми, нет! А зачем надо было бы меня отставлять? Ведь новый капрал еще не назначен, не правда ли?

– Нет... не совсем, – сказал Фюзелли.

V

Мэдвилл стоял у ворот лагеря, глядя на грузовики, проезжавшие мимо по главной дороге. Серые, неуклюжие, покрытые грязью, они ныряли вверх и вниз в грязные выбоины испорченной дороги бесконечной вереницей, тянувшейся насколько хватит глаз по направлению к городу и вверх по дороге. Мэдвилл стоял, широко расставив ноги, и плевал на середину дороги. Немного погодя он обернулся к капралу и сказал:

– Будь я проклят, если все это чем-то не пахнет.

– Да, дьявольская суматоха, – сказал капрал, качая головой. – Видал ты этого малого, Даниэльса, который был на фронте?

– Нет.

– Так он говорит, что там разразился сущий ад.

– Что случилось, черт побери? Пожалуй, придется поработать по-настоящему, – сказал Мэдвилл, усмехаясь. – Бог свидетель, я отдал бы лучшего жеребца на своем ранчо, чтобы понюхать пороху.

– У тебя есть ранчо? – спросил капрал.

Грузовики продолжали монотонно гроыхать мимо. Их шоферы были так забрызганы грязью, что трудно было разглядеть, какая на них форма.

– А ты что думал? – спросил Мэдвилл. – Что я в лавке торгую, что ли?

Мимо них прошел Фюзелли, направляясь в город.

– Эй, Фюзелли! – закричал Мэдвилл. – Капрал говорит, что там началось пекло. Нам, может быть, еще придется понюхать пороху.

Фюзелли остановился и присоединился к ним.

Думается мне, что бедный старичина Билли Грей уже всласть нанюхался его за это время, – сказал он.

– Хотел бы я быть с ним, – сказал Мэдвилл. – Если мы скоро не зашевелимся, я и сам попробую выкинуть этот маленький фокус теперь, когда погода установилась.

– Слишком опасно, черт возьми!

– Послушайте этого парня! В окопах опасно!.. Да ты что ж, собираешься валяться в лагере на перинах?

– Совсем нет, черт возьми, я сам хочу на фронт. Мне вовсе не улыбается торчать в этой дыре.

– Ну?

– Но не стоит нарываться на неприятности... Всякому ведь хочется выдвинуться в этой армии.

– А какой в этом толк? – спросил капрал. – Домой от этого ни на минуту скорее не попадешь.

– Черт возьми, однако ведь вы капрал?

Новая вереница грузовиков проехала мимо, заглушая разговор.

Фюзелли работал, укладывая медицинские принадлежности в огромном темном складе, полном упаковочных ящиков. Лучи солнца, проникавшие через железные подвижные двери, едва пробивались сквозь пыльный воздух. Работая, он прислушивался к болтовне Даниэльса и Мэдвилла, трудившихся рядом с ним.

– А уж газ этот, скажу тебе, самая проклятушая штука, о какой только мне приходилось когда-либо слышать. Я встречал ребят, у которых руки от него распухли вдвое против обыкновенного, совсем как пузыри. Они называют его горчичным газом.

– А отчего ты попал в госпиталь?

– Воспаление легких, – сказал Даниэльс, – а у меня был приятель, которого разорвало прямо надвое осколком гранаты. Он стоял около меня, ну вот как ты, и тихонько насвистывал «Типерери», как вдруг кровь у него забила ключом, и он так и повалился на месте. Грудь надвое, а голова висит на ниточке.

Мэдвилл переложил свою табачную жвачку за другую щеку и сплюнул на опилки пола. Солдаты, работавшие вокруг, остановились и восторженно смотрели на Даниэльса.

– Ну а как, по-твоему, что теперь творится на фронте? – спросил Мэдвилл.

– Будь я проклят, если знаю что-нибудь. Проклятый госпиталь в Орлеане был так набит, что солдатам приходилось дожидаться целые дни очереди на мостовой, прежде чем попасть туда. Я знаю это... Ребята там говорили, что дело разыграется скоро по-настоящему. Я так думаю, что фрицы начали наступать.

Мэдвилл посмотрел на него недоверчиво.

– Эти-то вонючки? – сказал Фюзелли. – Да разве они могут наступать? Они подымают с голоду.

– Как бы не так, – сказал Даниэльс. – Ты, кажется, веришь всякой газетной брехне?

Ряд глаз гневно сверкнул на Даниэльса. Все снова молча взялись за работу. Вдруг в склад с необычайно возбужденным видом вошел лейтенант, оставив за собой открытой железную дверь.

– Может кто-нибудь сказать мне, где сержант Окстер?

– Он был здесь несколько минут назад, – сказал Фюзелли.

– Ну а где же он теперь? – сердито выпалил лейтенант.

– Не знаю, сэр, – пробормотал Фюзелли, краснея.

– Пойдите поищите-ка его!

Фюзелли направился на другой конец склада. За дверью он остановился и лениво закурил папиросу. Кровь мрачно бурлила в нем. Откуда, черт возьми, он может знать, где сержант? Что он, чужие мысли читает, по их мнению, что ли? И весь поток горечи, скопившийся в глубине его сознания, закипел в его сердце. Они обращались с ним не так, как следовало. Безнадежная ненависть поднималась в нем против этой огромной тюрьмы, в которой он был теперь закован. Бесконечная вереница дней, совершенно одинаковых, заполненных подчинением чужим приказам и безмерным однообразием учений и строя, прошла перед его взором. Он чувствовал,

что не может больше жить так, и, однако, понимал, что должен и будет влачить это существование, что остановка невозможна, что ноги его будут продолжать двигаться в такт с движением машины.

Он заметил сержанта, который шел по направлению к складу по молодой зеленой траве, примятой колесами грузовиков.

– Сержант! – позвал он. Затем подошел к нему с таинственным видом: – Лейтенант хочет видеть вас сию же минуту в складе Б.

Он поплелся обратно к своей работе и пришел как раз вовремя, чтобы услышать, как лейтенант строгим голосом говорил сержанту:

– Сержант, вы знаете, как составляется отношение в военно-полевой суд?

– Да, сэр, – удивленно ответил сержант; он вышел из склада вслед за лейтенантом.

Фюзелли пережил минуту панического ужаса. Он продолжал, однако, методически работать, хотя руки его дрожали. Он рылся в памяти, соображая, не нарушил ли он чем-нибудь устава и не могут ли его предать за что-нибудь суду. Страх прошел так же быстро, как и возник. Конечно, у него не было никаких оснований беспокоиться. Он тихо засмеялся про себя. Как глупо было так пугаться. Он проработал весь однообразный, длинный день со всей быстротой и тщательностью, на какую был способен.

В этот вечер почти вся рота собралась в конце барака. Обоих сержантов не было. Капрал сказал, что ничего не знает, и угрюмо улегся в постель, завернувшись в одеяло; его то и дело потрясали приступы кашля.

Наконец кто-то сказал:

– Бьюсь об заклад, что Эйзенштейн оказался шпионом.

– Я тоже.

– Он ведь из эмигрантов? Откуда-то из Польши или из другого, черт его знает какого, места?

– Вечно он болтал вкривь и вкось.

– Я всегда был уверен, – сказал Фюзелли, – что он попадет в беду со своей болтовней.

– Что же он говорил? – спросил Даниэльс.

– Да говорил вот, что война несправедлива, и вообще нес всякую чертовщину за немцев.

– А знаете, как расправлялись за это на фронте? – сказал Даниэльс. – Во второй дивизии они заставили двух молодцов вырыть себе собственные могилы и потом расстреляли их, а все за то, что они говорили, будто война несправедливая.

– Черт! В самом деле?

– Да, уж можете мне поверить. Говорю вам, ребята: в этой армии с огнем играть не приходится.

– Заткнитесь вы там, Христа ради. Уже пробили зорю. Мэдвилл, потуши свет! – сказал сердито капрал.

Барак погрузился в темноту и наполнился шорохом, который производили солдаты, раздеваясь на своих нарах и продолжая разговаривать шепотом.

Рота выстроилась для завтрака. Солнце только что взошло и просвечивало розоватым светом сквозь нежные облака, затянувшие небо. На платановом проспекте шумно возились воробьи. Их громкое чириканье покрывало треск заведенных моторов, доносившийся из сарая против столового барака.

Вдруг появился сержант; он прошел мимо, выпрямив по-военному плечи, так что все поняли сразу, что совершается что-то серьезное.

– Смирно, ребята, одну минуту! – сказал он.

Котелки зазвенели; все обернулись.

– После еды вы отправитесь немедленно в бараки и соберете ваши ранцы. И пусть каждый останется у своих вещей до приказа.

Рота заликовала, и котелки зазвенели, как цимбалы.

– Вольно! – крикнул весело старший сержант.

Клейкая овсянка и жирная грудинка были живо проглочены, и все с бьющимися сердцами бросились в барак, чтобы связать свои ранцы. Солдаты испытывали гордость под завистливыми взглядами завтракавших в конце барака товарищей из другой роты, не получившей никаких приказаний.

Собрав вещи, они расселись на пустых нарах, барабаня ногами по доскам, и стали ждать.

– Мы, должно быть, не двинемся отсюда, пока ад не вымерзнет, – сказал Мэджилл, завязывая последний ремешок на своем ранце.

– Всегда уж так... ломаешь себе шею, чтоб исполнить приказание, а...

– Выходи! – крикнул сержант, просовывая голову в дверь. – Стройся, смирно!

Лейтенант в новой походной шинели и новой паре обмоток стоял с торжественным видом, обернувшись лицом к роте.

– Ребята, – сказал он, откусывая каждое слово, точно это был кусок твердой палочки леденца, – один из вас предается военно-полевому суду за недопустимые изменнические взгляды, найденные в письме, которое он послал на родину своим друзьям. Я был крайне огорчен, обнаружив нечто подобное в одной из своих рот. Не думаю, чтобы среди вас нашелся еще один человек... достаточно подлый, чтобы держаться... питать... такие идеи...

Все выпятили грудь, давая внутренний обет не иметь лучше никаких идей, лишь бы, упаси Боже, не вызвать такого осуждения из уст лейтенанта.

Лейтенант продолжал:

– Я могу сказать только одно: если в роте имеется еще такой человек, пусть он держит язык за зубами и будет, черт возьми, поосторожнее, когда пишет домой. Вольно!

Он свирепо выкрикнул команду, точно это было приказание казнить виновного.

– Вот уж подлая гадина этот Эйзенштейн! – сказал кто-то.

Лейтенант, уходя, расслышал это.

– Ну, сержант, – сказал он развязно, – я уверен, что остальные – надежные ребята.

Солдаты снова вернулись в барак и стали ждать.

В приемной полкового врача оглушительно шелкали пишущие машинки и стояла невыносимая жара от черной печки посреди комнаты, выпускавшей время от времени из щели в трубе маленькие клубы дыма.

Доктор был маленьким человечком со свежим мальчишеским лицом и тягучим голосом. Он сидел, развалившись, за большой пишущей машинкой и читал журнал, лежащий у него на коленях.

Фюзелли проскользнул за машинку и остановился с фуражкой в руках около стула доктора.

– Ну, что вам нужно? – грубовато спросил его доктор.

– Один товарищ говорил мне, доктор, что вы ищете человека, знакомого с оптическим делом. – Голос Фюзелли был мягок, как бархат.

– Ну?

– Я три года работал в оптическом магазине у себя дома, в Фриско.

– Ваше имя, чин, рота?

– Дэниел Фюзелли, рядовой первого разряда, рота В, склад медицинских принадлежностей.

– Хорошо, я вытребую вас.

– Но, доктор...

– Ну, выкладывайте, что там еще, живо! – доктор нетерпеливо перелистывал страницы журнала.

– Моя рота выступает. Отправка состоится сегодня.

– Почему же, черт возьми, вы не являлись раньше? Стивенс, заготовьте-ка бумажку – требование – и дайте подписать старшему врачу, когда он будет проходить. Вот так всегда! – воскликнул он, трагически откидываясь назад на своем вертящемся стуле. – Вечно они сваливаются все на мою голову в последнюю минуту!

– Благодарю вас, сэр, – сказал Фюзелли, улыбаясь.

Доктор провел рукой по волосам и снова, ворча, принялся за свой журнал.

Фюзелли торопливо направился в барак, где рота все еще ожидала приказаний. Несколько человек уселись на корточках в кружок и играли в карты. Остальные валялись на своих голых нарах или возились с ранцами. Снаружи стал капать дождь, и запах мокрой прорастающей земли проник сквозь открытую дверь. Фюзелли сидел на полу около своих нар и бросал вниз нож, стараясь, чтобы он вонзился в доски между его коленями. Он тихонько насвистывал про себя. День проходил. Несколько раз он слышал вдали бой городских часов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.